

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
МОПРА**

Собрание сочинений

Жорж Санд

Мопра

«Алгоритм»

1837

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Мопра / Ж. Санд — «Алгоритм», 1837 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02863-2

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. Основная тема романа «Мопра», как и большинства ранних произведений Санд, любовь. Именно любовь главного героя Бернара Мопра к своей кузине становится той могучей силой и стимулом по преодолению высокомерия, извращенности и эгоизма, его духовному и нравственному перерождению.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-02863-2

© Санд Ж., 1837
© Алгоритм, 1837

Содержание

От автора	5
I	8
II	12
III	16
IV	20
V	24
VI	27
VII	39
VIII	43
IX	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51
Комментарии	

Жорж Санд

Мопра

Гюставу Папэ

Хотя, быть может, такой стародавний обычай и противен моде, – прошу тебя, брат и друг, принять посвящение этой повести, для тебя не новой. Многие в ней было подслушано мною в хижинах нашей Черной долины. Жить бы и умереть там, ежевечерне повторяя, как заклинание, милые нашему сердцу слова: «Sancta simplicitas!»¹

Жорж Санд

От автора

Незадолго до того, как, помнится, в 1846 году в Ноане я написала роман «Мопра», закончилось мое дело о разводе. И тогда-то брак, с уродствами которого я до той поры боролась, давая, быть может, повод полагать – поскольку мне не удалось достаточно полно развить свою мысль, – будто я отрицаю его по существу, предстал передо мною во всем нравственном величии своих принципов.

Нет худа без добра для того, кто умеет размышлять: чем яснее я видела, как мучительно и тягостно рвать супружеские узы, тем сильнее ощущала, насколько недостает браку того, что составляет основу счастья и равенства, – в понимании самом высоком и еще недоступном современному обществу. Более того – общество старается принизить священный институт брака, уподобляя его коммерческой сделке. Оно всячески подрывает устои этого священного института, чему способствуют и нравы самого общества, и его предрассудки, и его лицемерная подозрительность.

Когда, желая чем-нибудь себя занять и рассеяться, я начала писать роман, мне пришла в голову мысль изобразить любовь исключительную, вечную – до брака, в браке и после того, как оборвется жизнь одного из супругов. Потому-то я и заставила восьмидесятилетнего героя моей книги провозгласить верность единственной женщине, которую он любил.

Идеалом любви является, безусловно, верность до гроба. Законы нравственности и религии сделали этот идеал священным, имущественные соображения его искажают, а гражданские законы зачастую препятствуют его осуществлению либо превращают в одну только видимость; но здесь не место это доказывать. Да на роман «Мопра» и не возложена столь трудная задача. Чувство, обуревавшее меня, когда я его писала, выражено словами Бернара Мопра в конце книги: «Она была единственной женщиной, которую я любил; никогда другая не привлекла моего взора, не испытала страстного пожатия моей руки».

Жорж Санд

5 июня 1857 г.

* * *

[1]

На границе Марша и Берри, в местности, которая называется Варенной и представляет собой обширную пустошь, пересеченную дубовыми и каштановыми лесами, в самой глухой чащобе этого края, можно встретить развалины притаившегося в лощине небольшого замка. Зубчатые башенки его открываются взору примерно лишь в сотне шагов от опускной решетки главного входа. Вековые деревья, окружающие замок, и скалистые вершины, встающие над

ним, погребли его в неизбывном мраке, и, пожалуй, лишь при полуденном свете можно пробраться по заброшенной тропинке, ведущей ко входу, не споткнувшись об узловатые корни и старые пни, на каждом шагу преграждающие путь. Эта угрюмая лощина, эти унылые развалины и есть Рош-Мопра.

Не так давно последний из Мопра, которому эти мрачные владения достались в наследство, приказал снести кровлю замка и распродать все до единого стропила и балки; потом, словно желая надругаться над памятью предков, он велел сорвать ворота, разрушить северную башню, разобрать до основания крепостную стену и удалился вместе с рабочими, отряхнув прах от ног своих и предоставив поместье лисам, орланам и змеям. С той поры какой-нибудь дровосек или угольщик, живущий в одной из хижин, что разбросаны окрест, проходя днем по краю лощины Рош-Мопра, дерзко насвистывает или посылает этим развалинам крепкое проклятие; но на склоне дня, едва с высоты бойниц донесется крик козодоя, дровосек или угольщик молча спешит мимо и время от времени осеняет себя крестным знаменем, как бы заклинающая нечистую силу, гнездящуюся в разрушенном замке.

Признаюсь, мне и самому делалось как-то не по себе, если случалось проезжать ночью этой лощиной; не стану клятвенно заверять, что в иную грозовую ночь и я не пришпоривал коня, спеша избавиться от тягостного чувства, навеянного соседством старого замка: ибо еще в детстве имя Мопра пугало меня не меньше, чем имена Картуша^[2] и Синей Бороды^[3], а в страшных сновидениях тех лет прадедовские сказки о людоедах и оборотнях зачастую переплетались с подлинными и весьма недавними событиями, создавшими семейству Мопра недобрую славу по всей округе.

Порой, когда, охотясь за зверем и наскучив ждать в засаде, мы с приятелями подходили погреться у костра, который угольщики жгут всю ночь напролет, я слышал, как при нашем приближении роковое имя Мопра замирало у кого-нибудь на устах. Но, едва нас узнав и уверившись, что призрак одного из этих разбойников не затаился среди пришельцев, люди начинали шепотом плести такие небылицы, что волосы подымались дыбом. Я не стану вам их пересказывать – довольно и того, что эти страшные рассказы омрачили мою душу.

Отсюда не следует, что повесть, которую я для вас предназначаю, будет приятной и веселой; напротив, я прошу у вас прощения, представляя на ваш суд описание событий столь мрачных; но к впечатлению, какое повествование это на меня произвело, примешивается нечто до того утешительное и, если осмелюсь так выразиться, до того благодетельное для души, что, надеюсь, вы не осудите меня, снисходя к тем выводам, какие оно подсказывает. Впрочем, историю эту поведали мне совсем недавно; вы просите меня что-нибудь рассказать; вот превосходный случай, и, принимая во внимание леность и бесплодие моего воображения, я не премину им воспользоваться.

На прошлой неделе мне удалось наконец повстречаться с Бернаром Мопра. Последний отпрыск этого семейства, он давно уже порвал со своей гнусной родней и, в знак отвращения к воспоминаниям детства, разрушил фамильный замок. Бернар – один из самых уважаемых людей в округе; живет он на равнине близ Шатору, в красивом деревенском доме. Как-то раз очутился я неподалеку от этих мест с моим другом, который его знал; когда я выразил желание повидать Бернара, друг тотчас же проводил меня к нему, посулив радушный прием.

Примечательная жизнь этого старика была мне в общих чертах известна; но я всегда испытывал горячее желание узнать ее в подробностях и, главное, из его собственных уст. Необычайная судьба его представлялась мне чуть ли не философской проблемой, ждущей разрешения, а потому я с особым интересом присматривался к его чертам, повадкам, ко всей окружающей его обстановке.

Бернару Мопра не менее восьмидесяти лет, но крепкое здоровье, прямой стан, твердая поступь и отсутствие каких бы то ни было признаков старческой немощи позволяют дать ему пятнадцатую – двадцатую годами меньше. Лицо его могло показаться на редкость красивым,

если бы не выражение суровости, которое невольно воскресило перед моим взором тени его предков. Сдается, что внешне он походит на них. Подтвердить это мог бы лишь он сам, – ведь ни я, ни мой друг не знали никого из Мопра, – но как раз об этом мы и остерегались его расспрашивать.

Насколько мы заметили, слуги исполняли его приказания с быстротой и точностью, необычайными для беррийцев. И все-таки при малейшей видимости промедления он повышал голос, хмурил брови, еще очень черные, несмотря на белоснежную гриву волос, и в нетерпении ворчал, что заставляло самых неповоротливых летать как на крыльях. Такие его повадки вначале неприятно меня поразили: я находил, что все это, пожалуй, очень уж в духе Мопра; но отечески мягкое обращение Бернара со слугами минуту спустя, а также их усердие, которое, на мой взгляд, отнюдь не было внушено страхом, вскоре примирили меня со стариком. Принял он нас, впрочем, с отменной учтивостью, изыскивая самым изысканным образом. Обед уже подходил к концу, когда по досадной случайности кто-то забыл притворить дверь, и старик почувствовал, как снаружи потянуло холодом; страшное проклятие, вырвавшееся у него, заставило нас с другом удивленно переглянуться. Бернар Мопра это заметил.

– Простите, господа, – обратился он к нам. – Я веду себя как человек невыдержанный. Удивительно ли? Я старая ветвь, по счастью отломившаяся от прогнившего дерева и пересаженная на добрую почву, но все такая же узловатая и грубая, как дикий остролист – ее родоначальник. А мне ведь больших трудов стоила моя нынешняя сдержанность и кротость. О, ежели б я смел, я бросил бы горький упрек Провидению, зачем оно отмерило мне жизнь столь же скупо, как и прочим смертным! Кто лет сорок – пятьдесят бился, чтобы из волка превратиться в человека, тот должен прожить лишнюю сотню лет, дабы вкусить плоды своей победы. Но к чему мне жить? – грустно сказал старик. – Ее уже нет, волшебницы, преобразившей меня, и она не может порадоваться на дело рук своих. Ну что ж, давно пора кончать и мне!

Он обернулся и, поглядев на меня своими большими, на редкость живыми глазами, продолжал:

– Так-то, милый юноша, я догадываюсь, что вас ко мне привело: любопытствуете узнать мою историю? Подсаживайтесь к очагу и будьте покойны: хоть я и Мопра, я не брошу вас в огонь вместо полена. Вы доставите мне огромное удовольствие, ежели послушаете меня. Ваш друг подтвердит, однако, что я говорю о себе не очень охотно: частенько боюсь столкнуться с глупцом. Но о вас я слышан, знаю, что вы за человек и чем занимаетесь: вы наблюдатель и рассказчик; стало быть, уж не взыщите, любопытны и болтливы.

Он расхохотался, я тоже принужденно засмеялся, начиная опасаться, что он над нами издевается; невольно вспомнились мне проделки его деда, который так зло потешался над любопытными простофилями, державшими к нему заглянуть. Но старик дружелюбно взял меня под руку и, усадив за стол, где стояли чашки, поближе к пылавшему камину, сказал:

– Не сердитесь; в мои лета трудно излечиться от склонности подшучивать, которая у всех Мопра в крови; но шучу я совсем беззлобно. Откровенно говоря, я рад вас видеть и поведать вам историю моей жизни. Человек, пострадавший так, как я, заслуживает правдивого летописца, который уберет бы память о нем от любых упреков. Так слушайте же меня и пейте свой кофе.

Я молча подал ему чашку; он отстранил ее с улыбкой, казалось говорившей: «Оставим это для вашего изнеженного поколения».

И начал свой рассказ такими словами.

I

– Вы живете неподалеку от Рош-Мопра, и вам, должно быть, не раз случалось проходить мимо его развалин; нет надобности поэтому их описывать. Могу лишь сказать, что прежде обитель эта была куда менее привлекательна, нежели теперь. В тот день, когда я приказал сорвать с нее кровлю, солнце впервые озарило серые углы, где протекало мое детство, и ящерицы, которым уступил я это жилище, чувствуют себя там куда привольнее, нежели я в те времена; они, по крайней мере, видят дневной свет и могут согреть холодное тело в лучах полуденного солнца.

Были в роду Мопра старшая и младшая ветвь. Я принадлежу к старшей. Дед мой, тот самый Тристан Мопра, что промотал свое состояние и опозорил имя, был до того свиреп, что о нем и поныне рассказывают всяческие небылицы. Крестьяне верят и по сию пору, будто дух Тристана Мопра вселяется то в колдуна, указующего злодеям путь к селениям Варенны, то в старого зайца-беляка, который перебегает дорогу человеку, задумавшему недоброе. Когда я появился на свет, единственным представителем младшей ветви Мопра был господин Юбер де Мопра, прозванный «кавалером», ибо он некогда принадлежал к мальтийскому ордену и был столь же добр, сколь его кузен был злобен. Будучи младшим в семье, он обрек себя на безбрачие; но когда все братья и сестры господина Юбера умерли, он попросил освободить его от принятого им на себя обета и за год до моего рождения женился. Прежде чем изменить столь решительно свой образ жизни, он, говорят, приложил немало стараний, пытаясь найти среди мужчин старшей ветви достойного наследника, способного возвысить пришедшее в упадок имя Мопра и сохранить состояние, процветавшее в руках представителей младшей ветви. Пытался он также привести в порядок дела своего двоюродного брата Тристана и не раз умиротворял его заимодавцев. Но, убедившись, что своими благодеяниями лишь поощряет семейные пороки, а взамен уважения и признательности никогда не встречает ничего, кроме затаенной ненависти да самой злобной зависти, он порвал всякие отношения со своими родичами и, невзирая на преклонный возраст (ему было за шестьдесят), женился, рассчитывая иметь наследников. У него родилась дочь, а затем с надеждой на потомство ему пришлось проститься, ибо вскоре жена его умерла от тяжелой болезни, которую врачи называли заворотом кишок. Господин Юбер де Мопра покинул эти края и лишь изредка навещал свои владения, расположенные в шести лье от Рош-Мопра, на краю Варенны, у Фроманталя. Это был человек разумный, справедливый и просвещенный: отец его, следуя духу времени, дал ему образование, что отнюдь не лишило господина Юбера ни твердости характера, ни отваги; подобно своим предкам, он с гордостью носил рыцарское прозвище Сорвиголова, наследственное в старинном роду Мопра. Что касается представителей старшей ветви, они показали себя с самой дурной стороны и столь прочно сохранили разбойничьи феодальные навыки, что получили прозвище «Мопра-душегубы». Отец мой, старший из сыновей Тристана, один только был женат. Я единственный его отпрыск. Следует сообщить вам здесь об одном обстоятельстве, которое стало мне известно много позднее. Узнав о моем рождении, Юбер де Мопра просил моих родителей отдать ребенка ему на воспитание; он готов был, если предоставят ему полную свободу, сделать меня своим наследником. Но тут отца моего случайно убили на охоте, а дед отклонил предложение Юбера, заявив, что его сыновья – единственные законные наследники младшей ветви рода и он всеми силами воспротивится тому, чтобы имение было отказано мне. Тем временем у Юбера родилась дочь. Но когда семь лет спустя жена его умерла, не оставив ему других детей, желание увековечить родовое имя, свойственное тогда всякому дворянину, побудило его вторично обратиться к моей матери с тою же просьбой. Не знаю, что она ему ответила: мать моя в ту пору занемогла и вскоре скончалась. Деревенские врачи и у нее установили заворот кишок. Последние два дня жизни моей матушки дед не оставлял ее.

Меня что-то познабливает... Налейте-ка стакан испанского... Да нет, ничего – это со мной бывает; как начну все вспоминать, не по себе становится. Пройдет!

Он залпом осушил стакан вина, а за ним и мы, ибо, взглядываясь в его суровое лицо, слушая бессвязную, отрывистую речь, мы тоже ошутили какой-то холодок. Бернар продолжал:

– Итак, семи лет я остался сиротой. Дед дочиста ограбил матушкин дом, унес все деньги и все тряпки, какие только можно было унести, остальное бросил, заявив, что не желает иметь дела с «законниками»; не дожидаясь, когда покойница будет предана погребению, он схватил меня за шиворот и кинул на круп своего коня, приговаривая: «Ну что ж, воспитанничек, едем! Да смотри не реви – нежничать я с тобою не стану».

И в самом деле, уже через несколько минут он изрядно отстегал меня хлыстом, отчего я не только перестал реветь, но весь съезжился, подобрался, словно черепаха под панцирем, и всю дорогу не смелдохнуть.

Тристан Мопра, высокий, костлявый старик, был косоглаз. Я и сейчас вижу его как живого. Тот вечер оставил по себе неизгладимую память. Все страхи, навеянные материнскими рассказами о гнусном свекре и его сыновьях-душегубах, внезапно стали явью. Помнится, сквозь густую чащу деревьев временами проглядывала луна. Конь у деда моего был такой же сильный, жилистый и злой, как он сам. При каждом ударе хлыста жеребец становился на дыбы, а хозяин его на удары не скупился. Конь стрелой перелетал через овраги и ручьи, которыми вдоль и поперек изрезана Варенна. При каждом толчке я терял равновесие и в страхе цеплялся за лошадиную сбрую или дедовскую куртку. Старик же столь мало обо мне тревожился, что, наверно, не дал бы себе труда меня подобрать, если бы я упал. Иногда, заметив мой испуг, он начинал надо мною насмехаться и, желая припугнуть сильнее, снова заставлял коня подыматься на дыбы. Десятки раз малодушие охватывало меня, я готов был разжать руки, упасть навзничь, но врожденная жажда жизни мешала мне поддаться приступу минутного отчаяния. Наконец около полуночи дед резко осадил коня перед небольшими стрельчатыми воротами, и тотчас подъемный мост взвился позади нас. Я обливался холодным потом; дед снял меня с лошади и швырнул на руки какому-то отвратительному хромому верзиле, а тот потащил в дом; так я попал в Рош-Мопра; верзила же оказался моим дядей Жаном.

Дед мой и восемь его сыновей были последышами уже почти исчезнувшей в ту пору у нас в провинции породы мелких феодальных тиранов, которые в течение стольких веков наводняли и разоряли Францию. Прогресс, стремительно шествовавший навстречу великим революционным схваткам, все успешнее сметал со своего пути узаконенный разбой и бесчинства феодалов. Лучи просвещения, какое-то подобие хорошего вкуса, смутное отражение галантных нравов двора, а может быть, и предчувствие близкого и грозного пробуждения народа, проникали и в старинные замки, и в полудеревенские усадьбы мелких дворянчиков. Даже в самых глубинных провинциях страны, по причине своей отдаленности наиболее отсталых, чувство социальной справедливости начинало одерживать верх над варварскими обычаями. Не один бездельник вынужден был, вопреки дворянским привилегиям, умерить свой норов. Кое-где крестьяне, доведенные до крайности, жестоко расправлялись со своими господами; суды же и не пытались вмешиваться в эти дела, а родичи пострадавших не осмеливались требовать возмездия.

Несмотря на такое брожение умов, дед мой долгое время бесчинствовал в наших краях, не встречая никакого противодействия. Но он был обременен большой семьей, а каждый из его сыновей, как и он сам, наделен был множеством пороков; заимодавцы стали наконец преследовать моего деда и докучать ему, уже не страшась его угроз и, более того, угрожая ему самому. Теперь приходилось думать, как ускользнуть от судебного пристава, как избежать поминутных стычек, в которых, несмотря на свою многочисленность, единодушие и богатырскую силу, Мопра уже не могли похвастать превосходством, ибо весь народ принял сторону их врагов и каждый почитал своим долгом ополчиться против Мопра. Тогда Тристан, собрав вокруг себя

весь свой выводок, подобно тому как вепрь, уцелев после охоты, собирает разбежавшихся кабанят, удалился в свой замок и, подняв мост, заперся там вместе с дюжиной поселян-браконьеров и беглых солдат, бывших у него в услужении; как и Тристан, они оказались вынуждены, по его выражению, «уйти от света» – искать надежного пристанища за крепостными стенами. На площадке перед замком составили в козлы охотничьи ружья, карабины, мушкеты, снесли туда колья и тесаки, а привратнику отдали приказ подпускать на расстояние ружейного выстрела не более двух человек.

С того дня Мопра и его сыновья порвали с законами общества, как порвали они раньше с законами нравственности. Они превратились в шайку разбойников. Преданные и верные им браконьеры снабжали замок дичью, сами же Мопра взимали незаконные поборы с окрестных хуторов. Крестьяне наши, как вы знаете, не трусы (вовсе нет!), но робки и уступчивы то ли из равнодушия, то ли по причине недоверия к законам, в которых они искони ничего не смыслили, да и поныне разбираются с грехом пополам. Ни одна из французских провинций не питала такой приверженности к обычаям старины, ни одна не терпела насилия феодалов дольше, нежели наша. Нигде, может статься, титул сеньора не сохранялся за иными владельцами замков до самого последнего времени, и нигде нельзя с такой легкостью напугать жителей нелепыми, вздорными политическими слухами, как у нас. В то время среди глухих, отрезанных от внешнего мира деревень единственным на всю округу могущественным родом были Мопра; они без труда убедили своих вассалов, что крепостное право будет восстановлено и смутьяны получают по заслугам. Крестьяне поколебались, тревожно прислушиваясь к голосам одиночек, призывавших отстаивать свободу, поразмыслили и сочли за благо покориться. Денег Мопра не требовали. Звонкая монета – это то, что здешнему крестьянину труднее всего добыть и что всего досаднее выпустить из рук даже тогда, когда ему предлагают возместить долг не деньгами, а продуктами сельскохозяйственного труда на вдвое большую сумму. Излюбленная его поговорка – «дороже денег нет ничего»: ведь деньги для него – это не только затрата физической энергии, но средство обмена и общения с людьми за пределами его деревни; они достаются на рынке ценой напряжения всех духовных сил, которое заставляет крестьянина позабыть о привычной нерадивости; одним словом, добывание денег – труд умственный, то есть для крестьянина труд самый тягостный, самый хлопотливый.

Хорошо зная местные нравы и не очень нуждаясь в деньгах, поскольку платить долги они не собирались, Мопра взимали оброк лишь натурой. Побо́ры шли с кого каплунами, с кого телятами, с того зерном, с другого кормом для скота и так далее. Обирали Мопра с умом, требуя от каждого лишь то, что он мог дать, не урезая себя сверх меры; всем сулили они покровительство и помощь и до известной степени держали слово. Они истребляли волков и лис, укрывали беглых и, запугивая сборщиков соляного налога и податных чиновников, помогали обкрадывать казну.

Пользуясь легковерием бедняков, Мопра внушали им ложные представления относительно их истинных выгод, развращали простой люд, искажая понятия нравственного достоинства и естественной свободы. Все население края вслед за Мопра порвало с законностью, а чиновников, призванных стоять на страже порядка, застращали до того, что спустя несколько лет здесь и вовсе позабыли о соблюдении законов.

Итак, хотя неподалеку от этих мест Франция быстро шагала к раскрепощению неимущих классов, Варенна стремительно катилась вспять, к исконной тирании местных дворянчиков. Тем сподручнее было Мопра совращать бедняков: якобы опростившись, они подчеркивали свое отличие от местных дворян, сохранявших высокомерные повадки времен былого могущества. Дед мой не упускал случая внушить крестьянам такую же ненависть к своему кузену Юберу де Мопра, какую питал к нему сам. Ведь тот принимал своих крестьян сидя в кресле, пока они стояли перед ним с непокрытой головой, а Тристан Мопра сажал их за стол и распивал с ними вино, которое они ему приносили в качестве добровольного даяния. Глубокой ночью

слуги выпроваживали мертвецки пьяных гостей, и лес, озаренный светом факелов, оглашали непристойные песни. Распутство окончательно разложило крестьян. В каждой семье у разбойников Мопра были наложницы, и все терпели это, находя в этом выгоду или же, как ни прискорбно сознаться, удовлетворение своему тщеславию. Разбросанность крестьянских усадеб благоприятствовала пороку: ни шума, ни огласки. Будь тут хоть маленькая деревушка, в ней зародилось бы и одержало верх общественное мнение; здесь же были только рассеянные окрест лачуги да уединенные мызы; степи и лесные засеки пролегали между одинокими домишками, так что в одной семье не знали, что делается в другой. А соблазн могущественнее совести. Бесполезно говорить, какими узами порока господи были связаны с рабами: распутство, лихоимство и мотовство служили примером и наставлением моей юности; а жилось в замке превесело. Мопра издевались над правосудием, не платили заимодавцам ни процентов, ни долгов; судейских же, когда те осмеливались предъявить повестку с вызовом в суд, избивали; стражников, если те подъезжали слишком близко к замковым башням, обстреливали из бойниц. На суды они призывали чуму, на глашатаев новой философии – голодуху, на представителей младшей ветви Мопра – погибель, и все это с видом паладинов XII века. Дед мой то и дело похвалялся своей родословной и удалью предков; он сокрушался о добрых старых временах, когда сеньоры располагали орудиями пытки, подземными темницами, а главное – пушками. Мы же были вооружены только вилами, дубинками да скверной кулевриной, из которой, впрочем, дядя Жан весьма метко попадал в цель; этого было достаточно, чтобы держать в почти-тельном страхе всю округу с ее слабосильным воинством.

II

Старик Мопра был коварным и хищным зверем – чем-то средним между рысью и лисой. Природное красноречие и некоторый лоск, приданный воспитанием, помогали ему в его плутнях. Он вел себя подчеркнуто учтиво, но в средствах убеждения, особенно для тех, кому хотел отомстить, недостатка не испытывал. Заманив жертву к себе, Тристан очень жестоко с ней расправлялся; обратиться же в суд потерпевший не мог за отсутствием свидетелей. Злодеяния свои Мопра вершил с такою ловкостью, что ошеломил всех в округе, внушив соседям чувство, весьма похожее на почтение. Схватить преступника за пределами его берлоги не удавалось, хотя он и выходил из нее без видимых предосторожностей. В этом человеке жило какое-то злое начало, и сыновья, не питавшие к нему любви, поскольку были на нее неспособны, беспрекословно и слепо покорялись власти его ненавистного превосходства. Он умел вызволить их из самой отчаянной переделки; когда же затворников замка начинала томить скука, витавшая под оледеневшими сводами, воображение этого свирепого шутника изобретало забавы, вполне достойные воровского притона. Случалось, подвернется под руку братьям Мопра какой-нибудь жалкий нищенствующий монах – вот тут-то они и позабавятся, всячески страшая его и мучая: либо подпалят бороду, либо спустят на веревке в колодец и будут ни живого, ни мертвого там держать, пока не заставят спеть непристойную песенку или произнести какие-нибудь кощунственные слова. Вся округа знала о злочлнении пристава и четырех судебных исполнителей: их гостеприимно препроводили в замок и оказали им там наилюбезнейший и весьма пышный прием. Дед мой притворился, что добровольно подчиняется судебному постановлению, он охотно помог составить опись всей движимости, какая была назначена к продаже за долги; когда же подали обед и королевские служаки уселись за стол, Тристан сказал судебному приставу:

– Ах ты, господи! Совсем позабыл! Есть у меня на конюшне еще одна кляча; не бог весть что, да как бы вас не упрекнули, ежели вы не упомянете ее в вашей описи; вижу, вы человек почтенный, не хочется вводить вас в заблуждение. Ступайте-ка за мною да взгляните на нее, это займет не более минуты.

Пристав доверчиво последовал за хитрецом; у входа в конюшню Мопра, который шел впереди, предложил чиновнику просунуть голову в дверь и заглянуть внутрь. Желая проявить снисходительность при исполнении служебного долга и не придирается к мелочам, пристав так и поступил; но тут Мопра резко захлопнул дверь и с такою силой прищемил створкой шею чиновника, что у несчастного захватило дух. Полагая, что судейский достаточно наказан, Тристан снова распахнул дверь, с отменной учтивостью попросил извинения за оплошность и предложил потерпевшему руку, дабы проводить его к столу. Отказаться судейский счел неуместным. Но, едва вернувшись в зал, где находились его собратья, он упал на стул и, указывая на свое мертвенно-бледное лицо и ссадины на шее, стал жаловаться на подстроенную ему ловушку и требовать правосудия. Тут мой дед проявил присущее ему коварство и, глумясь над своей жертвой, разыграл предезкую комедию. Приняв достойный вид, он стал упрекать судейского, что тот возвел на него напраслину; дед утверждал это с притворной учтивостью и кротостью, призывая гостей в свидетели своего безупречного поведения; он радушно угостил судейских великолепным обедом и, умоляя простить ему скромный прием, сослался на стесненные обстоятельства. Бедняга пристав не посмел отказаться: полумертвый от боли, он вынужден был отобедать. Мопра же до такой степени одурачил своими заверениями его собратьев, что те, сочтя пристава сумасшедшим и лгуном, продолжали весело попивать винцо да закусывать. Покинули они Рош-Мопра вдребезги пьяные, вознося хвалу владельцу замка и насмехаясь над пострадавшим, а тот, едва успев сойти с лошади, испустил дух на пороге своего дома.

Гордость и опора старика Мопра, восемь его сыновей все в равной мере походили на него как физической силой, так и грубостью нрава; все они – кто в большей, кто в меньшей степени – отличались отцовской хитростью и злобной насмешливостью. Надо сказать, что это были настоящие негодяи, способные на любое злодеяние, и совершенные тупицы, когда дело касалось благородных мыслей или добрых чувств; была в них все же своего рода отчаянная отвага, не лишенная в моих глазах некоего величия. Но пора вам рассказать о себе, о том, как складывался мой характер в недрах той мерзкой трясины, куда Господу Богу угодно было меня погрузить, едва я вышел из младенческого возраста.

Я солгал бы, повествуя о годах моего детства, когда бы, стремясь вызвать у вас сострадание, стал утверждать, что родился с благородными задатками, с чистой и непорочной душой. Не ведаю, сударь, было ли это так. Быть может, есть непорочные души, быть может, нет; ни вам, да и никому другому никогда этого не узнать. Как ответить на вопрос: заложены ли в нас неодолимые склонности и способно ли воспитание только изменить их или же ему дано их искоренить? Что до меня, я не решусь об этом судить: я не метафизик, не психолог, не философ; но я прожил страшную жизнь, господа, и, будь я законодателем, я повелел бы вырвать язык или отрубить руку всякому, кто осмеливается проповедовать устно или письменно, что свойства человеческого характера predeterminedены и столь же мало поддаются перевоспитанию, как тигр с его плотоядностью. Господь уберет меня от подобного заблуждения.

Могу только вам сказать, что, не обладая, быть может, от природы достоинствами матушки, я унаследовал от нее добрые правила. Уже в детстве бывал я неистов – и то было неистовство мрачное и непобедимое: в ярости я становился слеп и жесток, перед лицом опасности – малодушно подозрителен, а в борении с нею – безрассудно отважен; иначе говоря, я был робок и в то же время смел, потому что был жизнелюбив. Мать одна только умела совладать с моим возмутительным упрямством, и я покорялся ей не рассуждая, ибо сознание мое весьма отстало в своем развитии, – покорялся, словно под действием магнетической силы. Лишь ее материнской власти, да еще власти другой женщины, которая повлияла на меня впоследствии, было бы, да и оказалось довольно, чтобы наставить меня на путь истинный. Но мать я потерял прежде, нежели она успела всерьез меня чему-нибудь научить; когда же я попал в Рош-Мопра, злодеяния, которые там совершались, способны были вызвать во мне лишь бессознательное отвращение, возможно, слишком слабое, если бы к нему не примешивался страх.

Но я от всей души благодарю Небо за муки, которые там претерпел, в особенности же за ту ненависть, какую питал ко мне дядя Жан. Несчастье убергло меня от равнодушия ко злу, страдания научили ненавидеть злодеев.

Самым отталкивающим из всего выводка Мопра был, конечно, Жан. Когда-то он упал с лошади и остался калекой; невозможность совершать такие же злодеяния, как братья, озлобила его до чрезвычайности. Когда все отправлялись на промысел, он поневоле оставался дома, потому что ездить верхом не мог. Единственной его отрадой были легкие стычки с вооруженными стражниками, когда те время от времени, как бы для очистки совести, бесплодно осаждали замок. Укрывшись за нарочно устроенным каменным бруствером, Жан спокойно посиживал у кулеврины и, по его словам, вновь обретал утраченные им по причине безделья сон и аппетит, лишь когда ему удавалось подстрелить какого-нибудь стражника. Бывало, и не дожидаясь нападения, вскарабкается он на свою излюбленную площадку позади бруствера и сидит, словно кот, подстерегающий добычу; едва завидит он вдали случайного прохожего, как начинает изощряться в меткой стрельбе, пока не заставит того повернуть вспять. Это называлось у Жана «убрать мусор с дороги».

Я был еще слишком мал, чтобы ездить с дядями на охоту и участвовать в грабежах, и так уж случилось, что Жан сделался моим опекуном и наставником, иначе говоря – тюремщиком и палачом. Не стану подробно описывать вам свое адское существование. Повинуясь жестоким прихотям этого чудовища, я почти десять лет кряду терпел голод и холод, брань, заточение и

побои. Развратить меня ему не удалось, отчего он жестоко меня возненавидел. А уберег меня от мерзких соблазнов крутой, строптивый и дикарский нрав. Для добродетели мне, быть может, твердости и не хватало, но для ненависти ее было, слава богу, достаточно. Я скорее дал бы себя четвертовать, нежели согласился угождать моему тирану. Так я и вырос, не постигнув прелести порока. Однако ж понятия мои об общественном устройстве были настолько необычны, что ремесло моих дядюшек само по себе не внушало мне отвращения. Воспитанный в стенах Рош-Мопра и постоянно находясь на осадном положении, я, как вы легко можете себе представить, разделял воззрения, достойные какого-нибудь вооруженного наемника времен феодального варварства. То, что другие люди за пределами нашего логова называли убийством, грабежом и мучительством, меня учили именовать сражением, победой и одолением врага. Вся история человечества сводилась для меня к рыцарским легендам и балладам, которые вечерами слышал я от деда, когда у него выдавалось немного времени, чтобы заняться, как он это называл, моим воспитанием; если же я задавал ему какой-нибудь вопрос касательно наших дней, он отвечал, что времена очень переменились, что все французы стали изменниками и предателями, что они застрашали королей и те трусливо отвернулись от дворянства, а оно, в свою очередь, малодушно отреклось от своих привилегий и позволяет мужикам устанавливать законы. Я слушал, с удивлением, почти с негодованием взирая на воссозданную им картину нашей эпохи, еще для меня непостижимой. Дед мой не был силен в истории: никаких книг в Рош-Мопра не водилось, за исключением романа о сыновьях Эмона^[4] и нескольких хроник подобного же рода, привезенных нашими слугами с какой-нибудь местной ярмарки. Из хаоса моего невежества в сознании всплывали только три имени: Карл Великий, Людовик XI и Людовик XIV, ибо, толкуя о попраных правах дворянства, дед мой часто называл эти имена. Я же, честно говоря, путал всех королей и далеко не был уверен, что дед мой и вправду не знал Карла Великого, так как упоминал он о нем чаще и охотнее, нежели о ком-либо другом.

Деятельная натура заставляла меня восхищаться воинственными подвигами дядюшек, и я испытывал великую охоту разделить с ними эти подвиги; но в то же время холодная жестокость, которую обнаруживали Мопра, возвращаясь из походов, вероломство, с каким они заманивали к себе какого-нибудь простофилю, вымогая у него выкуп или подвергая его пыткам, вызывали у меня странное, тягостное чувство; говоря откровенно, я и ныне с трудом могу в нем разобраться. Нравственных устоев у меня не было никаких, и неудивительно, если б я примирился с правом сильного, узаконенным в Рош-Мопра; но унижения и страдания, которым подвергал меня во имя этого права дядя Жан, учили не мириться с произволом. Признавая лишь право смелого, я от всей души презирал тех пленников Рош-Мопра, что, убоявшись смерти, покупали себе жизнь ценою бесчестия. Лишения и пытки, какие терпели здесь узники – порою женщины и дети, находили, на мой взгляд, свое единственное объяснение в кровожадности Мопра. Не знаю, были ли мне доступны добрые чувства, они ли внушили мне сострадание к жертвам; одно несомненно: я испытывал ту невольную эгоистическую жалость, что, преобразившись в чувство более возвышенное и благородное, превращается у людей цивилизованных в милосердие. Ведь по малейшей прихоти моих утеснителей я тоже мог подвергнуться любым пыткам; поэтому, несмотря на мою внешнюю грубость, сердце содрогалось у меня от страха и омерзения, тем более что, заметив, как я бледнею при виде гнусных истязаний, Жан насмешливо приговаривал:

– Вот так я и с тобою разделаюсь, если не будешь слушаться.

Знаю одно: от всех этих мерзостей мне становилось невмоготу, кровь застывала в жилах, горло сжимала спазма, и я убегал, боясь испустить вопль, подобный тем, что раздирали мой слух. Но со временем я огрубел, впечатлительность притупилась, а привычка помогла скрывать то, что именовали моим малодушием. Я стыдился этих признаков слабости и принуждал себя улыбаться тою же хищной улыбкой, какую я видел на лицах моих родичей. Но мне никак не удавалось подавить судорожный трепет, временами пробегающий по моим членам,

и смертельный холод, проникавший в мои жилы всякий раз, как повторялись эти тягостные сцены. Непостижимое смятение охватывало меня при виде женщин, которых то приводили, то волокли насильно под кровлю Рош-Мопра. Юношеский пыл пробуждался во мне, и я с вождением глядел на добычу моих дядей; но к вождению, которое зарождалось во мне, примешивалась невыразимая тоска. В глазах всех, кто меня окружал, женщины были презренными существами; тщетно, когда жажда наслаждения искушала меня, пытался я отогнать от себя эту мысль. В голове у меня все мешалось, а взбудораженные нервы придавали моим ощущениям болезненное неистовство.

Надо признаться, что нравом природа наделила меня столь же крутым, как моих сородичей; если же сердцем я и был добрее, то повадки у меня были не менее наглые, а забавы не менее грубые. Небесполезно будет рассказать здесь об одном происшествии, рисуя мое юношескую запальчивость, тем более что последствия его оказали влияние на всю мою дальнейшую жизнь.

III

В трех лье от Рош-Мопра, по дороге к Фроманталю, вы, должно быть, заметили в лесной чаще одинокую старую башню, знаменитую трагической кончиной какого-то узника: лет сто тому назад не в меру ретивый палач, проезжая мимо и желая угодить сеньору из рода Мопра, счел за благо повесить арестанта без суда и следствия.

Уже задолго до того времени, о котором я веду речь, башня Газо угрожала превратиться в развалины и потому пустовала; она числилась государственным владением, и в ней – не столько из милосердия, сколько по забывчивости – позволили ютиться старику поселянину, человеку весьма странному, жившему в полном одиночестве и известному в округе под именем папаши Пасьянса.

– О нем говорила мне бабка моей кормилицы, – вставил я, – она считала его колдуном.

– Вот-вот, и раз уж мы коснулись этого предмета, следует пояснить вам, что за человек был Пасьянс, – ведь мне еще не раз случится упомянуть о нем в моем рассказе, а довелось мне его узнать весьма близко.

Пасьянс был деревенский философ. Небо наделило его светлым умом, но образования ему не хватало; по воле неведомого рока ум его решительно восставал даже против той малости знаний, какие удалось ему приобрести. Так, будучи в Н-ской школе кармелитов, он не проявил даже видимости прилежания и убежал с уроков куда охотнее, нежели кто-либо из его сверстников. То был человек по природе своей весьма созерцательный, беспечный и кроткий, но гордый и одержимый неистовой страстью к независимости. Пасьянс верил в Бога, но враждовал со всякой обрядностью, был строптив, весьма задирист и крайне нетерпим к лицемерам. Монастырские обычаи оказались не по нем, и стоило Пасьянсу разок-другой поговорить с монахами по душам – его выгнали из школы. С тех пор сделался он злейшим врагом, как он выражался, «монашеской шатии» и открыто стал на сторону священника из Брианта, которого обвиняли в янсенизме^[5]. Однако и священнику обучение Пасьянса удавалось не лучше, нежели монахам. При всей своей богатырской силе и большой любознательности, молодой крестьянин проявлял непреодолимое отвращение к какому бы то ни было труду – как физическому, так и умственному. Он придерживался своей самобытной философии, и оспаривать его доводы священнику было трудно. «Раз потребности у тебя умеренные, то и деньги тебе ни к чему, а раз нужды в деньгах нет, так и работать незачем», – утверждал Пасьянс. Примером служил он сам: в том возрасте, когда страсти кипят, он соблюдал суровое воздержание – не пил ничего, кроме воды, ни разу не переступил порог кабака, вовсе не умел танцевать, с женщинами был всегда до крайности робок и неуклюж; да, впрочем, его странности, равно как суровый вид и слегка насмешливый ум, ничуть им не нравились. И, словно радуясь, что за нелюбовь он может отплатить им презрением, или же находя утешение в мудром воздержании, он, как некогда Диоген, любил поносить суетные наслаждения ближних, а если иной раз во время деревенского праздника и видели его на гулянье, он отделялся какой-нибудь безобидной остротой, в которой явственно проглядывал неколебимо здравый смысл. Нравственная нетерпимость его проявлялась иной раз в желчных выходках, а речи наводили уныние или же пугали людей с нечистой совестью. Это создавало ему злейших врагов; ярые ненавистники Пасьянса или простаки, изумленные его чудачествами, закрепили за ним славу колдуна.

Я неточно выразился, сказав, что Пасьянсу не хватало образования. Ум его, жаждавший постигнуть великие тайны природы, стремился все схватить мгновенно. Уже на первых порах священник-янсенист, дававший ему уроки, был до чрезвычайности смущен и напуган дерзновенностью ученика, который осыпал его градом смелых вопросов и блистательных возражений; учитель вынужден был тратить столько красноречия, дабы успокоить и обуздать ученика, что у него не хватило времени преподать Пасьянсу грамоту, и в итоге десятилетнего обучения,

которое всякий раз прерывали то ли по прихоти, то ли по необходимости, он так и не выучился читать. Потев от натуги, он с трудом разбирал полстранички в час, да и то вряд ли понимал смысл большинства слов, выражающих отвлеченные понятия. И все же эти понятия вошли в его плоть и кровь – вы убеждались в этом, видя, слыша Пасьянса; а ведь просто чудо, как умел он передать их своим деревенским, одушевленным варварской поэзией языком! Слушая его, вы не знали то ли восхищаться вам, то ли смеяться над ним.

Он же, всегда сосредоточенный, всегда независимый, не желал сколько-нибудь считаться с логикой. Стоик по природе и по убеждению, он страстно проповедовал отказ от суетных благ и, неколебимый в своем отречении, наголову разбивал бедного священника; в этих-то спорах, как часто говаривал мне Пасьянс в последние годы жизни, он и приобрел свои философские познания. Пытаясь устоять под ударами его мощной, как таран, самобытной логики, янсенист вынужден был ссылаться на свидетельства всех отцов церкви, противопоставляя им, а зачастую и подкрепляя ими, доктрины всевозможных ученых и мудрецов древности. Круглые глаза Пасьянса, по собственному его выражению, «вылезали на лоб», слова замирали на устах, и, радуясь, что он может познавать без усилий, не давая себе труда изучать, он заставлял священника подолгу втолковывать себе воззрения и описывать жизнь какого-либо великого мыслителя. Видя, что Пасьянс молчит и весь – внимание, противник торжествовал; но в ту минуту, когда священнику казалось, что ему удалось привести этот мятежный ум к покорности, Пасьянс, заслышав, как деревенские часы бьют полночь, подымался и, сердечно прощаясь с хозяином, который провожал его до крыльца, ужасал его каким-нибудь лаконичным, но едким замечанием, смешивая в одну кучу святого Иеронима, Платона и Евсевия^[6], Сенеку^[7], Тертуллиана^[8] и Аристотеля.

Священник не желал признаться самому себе в умственном превосходстве своего невежественного слушателя. И все же его до чрезвычайности удивляло, что, проводя с этим крестьянином немало зимних вечеров у камелька, он не испытывает ни утомления, ни скуки; он недоумевал, почему, беседуя с деревенским учителем или даже настоятелем монастыря, сведущими в латыни и в греческом, он неизменно либо ощущает скуку, либо замечает их неправоту. Зная, какой высоконравственный человек Пасьянс, священник объяснял его неотразимую силу властным, всепокоряющим обаянием добродетели. И каждый вечер смиренно каялся он перед Богом, что в споре с учеником недостаточно твердо придерживается христианских догматов. Ангелу-хранителю своему он признавался, что, гордый своею ученостью, довольный благочестивым вниманием слушателя, несколько увлекается мыслью за пределы религиозных наставлений; слишком охотно ссылается на светских авторов и даже испытывает опасное удовольствие, прогуливаясь со своим учеником по полям древности и срывая цветы язычества, не окропленные святою водою крещения, аромат коих вдыхать с таким восторгом служителю церкви не подобает.

Пасьянс преданно любил священника: то был единственный его друг, единственный, кто связывал его с людьми, единственный, кто, держа перед ним светоч науки, приобщал его к Богу. Крестьянин сильно преувеличивал ученость своего наставника. Ему было невдомек, что даже люди самые просвещенные и сведущие зачастую представляют себе превратно или не представляют вовсе путь развития человеческого познания. Пасьянс был бы избавлен от жестокого душевного смятения, если бы мог быть уверен, что учитель его часто ошибается и что виною тому сам человек, а не истина как таковая. Не подозревая того и видя, что вековой опыт не отвечает врожденному чувству справедливости, Пасьянс всем существом своим ушел в мечты; живя в одиночестве, бродя по окрестностям в любое время дня и ночи, погружаясь в размышления, столь несвойственные людям его сословия, он давал все более оснований верить басням, утверждавшим за ним славу колдуна.

Священника в монастыре не любили. Кое-кто из монахов, разоблаченных Пасьянсом, ненавидел Пасьянса. Наставник и ученик стали жертвой постоянных преследований. Невеже-

ственные монахи не остановились перед тем, чтобы очернить служителя церкви в глазах епископа, обвинив его, вкуче с колдуном Пасьянсом, в чернокнижии. В деревне и по всей округе началось нечто вроде религиозной войны. Все, кто был против монастыря, шли за священником, и наоборот. Пасьянс не устаивал эту борьбу своим вмешательством. Как-то утром пришел он к своему другу и, обняв его, сказал со слезами:

– Вас одного признаю я в целом свете; не хочу, чтобы из-за меня вы терпели гонения; никого, кроме вас, у меня нет, никого я не люблю; вот и уйду я в лес, стану там жить, как первобытные люди. Досталось мне в наследство поле, дает оно ливров пятьдесят дохода; ни к какой другой земле я рук не приложил; да еще половина жалких моих прибытков шла сеньору в уплату десятины; надеюсь, мне уж до самой смерти не придется на другого, как лошадь, работать. Но ежели прогонят вас, лишат прихода и жалованья, и придется вам землю пахать, только подайте весточку – и увидите: руки у меня не отсохли от безделья.

Тщетно пастырь противился такому решению. Пасьянс ушел, унося с собой единственное свое имущество – куртку, что была у него на плечах, да книгу, где кратко излагалось учение его излюбленного философа – Эпиктета^[9]. Благодаря постоянному упражнению Пасьянс, не слишком себя переутомляя, мог прочесть до трех страниц этой книги в день. Деревенский отшельник «удалился в пустыню». Поначалу построил он в лесу шалаш из древесных ветвей, но его осаждали волки. Тогда он нашел убежище в подземелье башни Газо, всю нехитрую обстановку которого составляли постель из мха и деревянные чурбаки. Лесные коренья, дикие плоды и козье молоко – такова была обычная еда Пасьянса, весьма немногим уступавшая его прежней деревенской пище. Я ничуть не преувеличиваю: стоит взглянуть на крестьянина в иных уголках Варенны, чтобы составить себе представление о том, до какой степени воздержания может дойти человек без ущерба для здоровья. Но даже среди вареннских крестьян с их стоическими навыками Пасьянс был исключением. Вино ни разу не обагрило его уст, хлеб же всегда представлялся ему излишеством. Отшельник не презирал и учение Пифагора^[10]. С некоторых пор он встречался с другом лишь изредка, но всякий раз говорил священнику, что, не веря в переселение душ как таковое и не ставя себе за правило есть одну только растительную пищу, он, ограничиваясь ею, втайне испытывает радостное чувство, ибо отныне избавлен от необходимости каждодневно убивать невинных животных.

Пасьянс принял это необычайное решение в возрасте сорока лет; когда я впервые его увидел, ему уже минуло шестьдесят, однако здоровье у него было могучее. Он привык из года в год совершать прогулки по всей округе. Но я подробнее расскажу об отшельнической жизни Пасьянса, когда буду описывать мою собственную жизнь.

В ту пору лесные объездчики, не столько движимые состраданием, сколько опасаясь «дурного глаза», разрешили Пасьянсу приютиться в башне Газо; они предупредили его, однако, что при первом же порыве бури башня может обрушиться ему на голову; на это Пасьянс философски возразил, что ежели ему суждено быть раздавленным, то любое дерево в лесу может рухнуть на него совершенно так же, как и кровля башни Газо.

Я должен просить вашего снисхождения за чрезмерные длинноты этого, быть может, слишком пристрастного жизнеописания. Но перед тем как окончательно вывести на сцену моего героя Пасьянса, следует еще добавить, что за двадцать лет взгляды священника изменились. Преклоняясь перед философией, этот славный человек невольно перенес свое преклонение на самих философов, далеко не правоверных. Внутреннее противоборство ему не помогло, и труды Жан-Жака Руссо увлекли его в область новых идей. И вот как-то утром, когда, посетив больных, священник возвращался домой, ему повстречался Пасьянс: на скалистом склоне Кревана он собирал коренья себе на обед. Священник уселся на друидическом камне^[11] рядом с крестьянином и стал излагать ему, сам того не подозревая, «Исповедание веры савойского викария»^[12]. Пасьянс куда охотнее вкушал от плодов этой поэтической религии, нежели от прежней канонической веры. Он с такой готовностью внимал новым учениям

в кратком пересказе священника, что это побуждало господина Обера не раз тайком, будто ненароком, встречаться со своим учеником на уединенных возвышенностях Варенны. Таинственные их собеседования воспаляли воображение Пасьянса, которое он в своем отшельничестве сохранил нетронутым и пылким; беседы эти зажгли его всем волшебством идей и чаяний, какие наполняли брожением тогдашнюю Францию от версальского двора до самых глухих вересковых пустошей. Пасьянс увлекся Жан-Жаком и заставил прочитать себе все, что могло быть прочитано священником не в ущерб его пастырскому долгу. Выпросив затем у него «Общественный договор»^[13], Пасьянс уединился в башне Газо и тут же принялся разбирать книгу по складам.

Священник, осчастлививший Пасьянса этой манной небесной, постарался преподнести ее со всяческими оговорками и полагал, что, предоставляя своему ученику восхищаться величием мыслей и чувств философа, он, однако ж, достаточно предостерег его от анархической отравы. Но все, чему он учил Пасьянса ранее, все удачные ссылки на древних, одним словом, вся теология верного служителя церкви, словно хрупкий мостик, была снесена потоком дикарского красноречия и необузданных восторгов, накопленных Пасьянсом в его отшельничестве. Напуганный священник вынужден был отступить; заглянув в собственную душу, он обнаружил зияющие провалы в своем мировоззрении: оно трещало по всем швам. Под лучами восходившего на политическом горизонте нового солнца, вызвавшего переворот в умах, растаяло, подобно легкому снежку при первом веянии весны, то косное, что было в его сознании. Восторженность Пасьянса, своеобразие его поэтического уединения, налагавшего на него отпечаток вдохновенности, романтический характер их таинственных встреч (гнусные преследования монахов придавали какое-то благородство их бунтарству) – все это настолько захватило священника, что в 1770 году, будучи уже очень далек от янсенизма, он тщетно пытался найти опору в какой-нибудь религиозной ереси, дабы, утвердившись в ней, не скатиться в бездну философии, которую постоянно раскрывал перед ним Пасьянс и которую пастырь, вооруженный хитросплетениями римской теологии, безуспешно пытался обойти.

IV

– Я рассказывал вам о жизни и философских исканиях Пасьянса как ваш современник, – помедлив, продолжал Бернар, – и мне довольно трудно вернуться к впечатлению от первой встречи с колдуном из башни Газо. Постараюсь, однако, в точности воспроизвести все, как оно сохранилось у меня в памяти.

В один из летних вечеров возвращался я с ватагой крестьянских мальчишек из лесу, где мы на манок ловили птиц; тут-то и привелось мне впервые проходить мимо башни Газо. Шел мне тринадцатый год; среди моих спутников я был самым рослым и сильным, к тому же я неукоснительно пользовался своими феодальными преимуществами. Отношения наши являли собой забавную смесь панибратства и раболепия. Порой, когда охотничий пыл или усталость целого дня с особенной силой овладевали мальчишками, мне приходилось уступать их желаниям; и, как всякий деспот, я уже научился вовремя сдаваться и никогда не показывать вида, что принужден к этому в силу необходимости; но при случае я брал свое, и тогда ненавистное имя Мопра заставляло их трепетать.

Уже смеркалось; мы весело шагали, сбивая камнями гроздь рябины и подражая птичьим голосам; вдруг мальчишка, который шел впереди, попятился и объявил, что нога его не ступит на тропинку, проходящую мимо башни Газо. Двое других поддержали его. Третий возразил, что сходить с тропинки опасно, можно заблудиться – ночь на носу, а волков тьма тьмушая!

– Ну, ты, негодник! – властно прикрикнул я и подтолкнул нашего проводника. – Ступай-ка по тропинке и не приставай со всяким вздором!

– Чур меня! – пролепетал мальчуган. – Я там колдуна в дверях за приметил; он все бормочет, будто наговаривает; чего доброго, станет меня весь год лихорадка трепать...

– Да нет же! – сказал другой. – Он не на всякого порчу напускает, он малышей не трогает; надо только пройти потихоньку и не задирать его; что он нам сделает?

– Были бы мы одни – так уж ладно, а то ведь с нами господин Бернар, тут беды не миновать!

– Ты что это плетешь, болван? – воскликнул я и замахнулся кулаком.

– Я тут, ваша милость, ни при чем, – отозвался мальчуган. – Не жалуется эта старая нечисть господ. Колдун говаривал не раз: «Чтоб ему, господину Тристану, со всеми его сыновьями на одном суку повиснуть!».

– Ах, так? Ну ладно! – ответил я. – Вот подойдем поближе, тогда видно будет! Кто за меня – иди со мной; кто меня бросит – тот трус!

Двое моих спутников, движимые самолюбием, пошли следом. Остальные сделали вид, что не отстают, но, пройдя несколько шагов, разбежались и скрылись в чаще; я же горделиво продолжал путь в сопровождении двух своих приспешников. Малыш Сильвен шагал впереди; завидев издали Пасьянса, он поспешил снять шляпу; мы поравнялись со стариком, который стоял, опустив голову, и, казалось, не обращал на нас ни малейшего внимания, и тут перепуганный мальчуган дрожащим голосом пролепетал:

– Добрый вечер и... и доброй ночи, сударь!

Выведенный из задумчивости, колдун вздрогнул, словно пробудившись от сна, и я не без некоторого трепета уставился на его загорелое лицо, наполовину заросшее седой бородой. Голова у него была большая и совершенно лысая, а на оголенном лбу резко выделялись косматые брови, из-под которых, подобно молниям, сверкающим сквозь поблекшую в конце лета листву, блистали круглые, глубоко посаженные глаза. Низкорослый, широкоплечий, он был сложен как гладиатор. На нем горделиво красовались неопрятные лохмотья. Лицо у него было широкое и грубое, как у Сократа; и если его резкие черты и озарял незаурядный ум, мне не дано было это заметить. Он показался мне диким зверем, мерзким животным. Ненависть

захлестнула меня; решив отомстить за поношение всего моего рода, я вложил камень в рогатку и без дальних проволочек с силой метнул в колдуна. Камень вылетел, когда Пасьянс отвечал на приветствие мальчугана.

– Добрый вечер, малыши, да благословит вас Бог!.. – только успел произнести старик; но тут камень, просвистев у него над ухом, угодил в ручную сову, ютившуюся среди плюща, которым была увита дверь. Сова, единственная отрада старика, готова была уже пробудиться в наступающих сумерках.

С пронзительным криком окровавленная птица упала к ногам хозяина; Пасьянс застонал, а потом весь окаменел от изумления и ярости. Вдруг быстрым движением схватив за лапы трепещущую птицу, он поднял ее с земли и пошел нам навстречу.

– Говорите, негодники, кто швырнул камень? – громовым голосом закричал он.

Тот из моих спутников, что шел позади, поспешил удрать, а Сильвен, схваченный огромной ручищей колдуна, упал на колени и стал клясться Пречистой Девой и святою Соланж, покровительницей Берри, что неповинен в убийстве совы. Признаюсь, у меня было сильное искушение скрыться в чаще, предоставив мальчугану самому выпутываться из этой передраги как бог на душу положит. Я думал увидеть старого, дряхлого шарлатана и вовсе не желал угодить в лапы такому силачу; но гордость удержала меня.

– Горе тебе, ежели это ты, негодник! – приговаривал Пасьянс, обращаясь к моему дрожавшему от страха спутнику. – Мал ты еще, но как вырастешь, будешь бесчестным человеком. Мерзость-то какая: потехи ради причинил горе старику, а ведь я ничего дурного тебе не сделал! И хитрость-то какова, трусливый ты притворщик! А еще так учтиво со мной здоровается! Лгун ты, бесчестный обманщик! Отнял у меня единственного друга, единственное мое сокровище, да еще радуешься чужой напасти! Пусть приберет тебя Господь поскорее, ежели суждено тебе по этой дорожке пойти!

– Ах, господин Пасьянс! – заплакал мальчуган, умоляюще складывая руки. – Не проклинайте меня, не накликайте на меня беду, не насылайте порчу! Это не я! Убей меня бог, если это я!..

– Ежели не ты, выходит, он, что ли? – заревел Пасьянс, схватив меня за шиворот и встряхнув так, словно пытался вырвать с корнем деревце.

– Да, я! – услышал он высокомерный ответ. – И знай, что зовут меня Бернар Мопра и что мужик, осмелившийся тронуть дворянина, достоин смерти!

– Смерти? Это ты угрожаешь мне смертью? – воскликнул старик, изумленный и негодующий. – Где же тогда Господь Бог, если такой сопляк может грозить старому человеку? Смерти! Да ты и впрямь Мопра, вылитое их подобие, паценок проклятый! Едва на свет успел народиться, а уж смертью грозишь! Этаким волчонок! Да знаешь ли ты, что сам ее достоин, и не за то, что натворил, а за то, что ты отцовское отродье и дядюшкин племянник! Эх, и рад же я, что Мопра мне в руки попался! Посмотрим-ка, больше ли веса в каком-то негодном дворянчике, нежели в добром христианине?..

С этими словами Пасьянс, словно зайчонка, приподнял меня над землей.

– А ты, малыш, ступай домой, – сказал он, обращаясь к моему спутнику, – да не бойся: Пасьянс на своего брата в обиде не будет; он прощает братьям своим, потому – они неученые, как и он, не ведают, что творят; но Мопра – они-то и читать и писать горазды, а злоба в них с того лишь крепчает... Ступай... Нет, постой! Хоть раз в жизни увидишь, как мужицкая рука дворянина высекла. Смотри же, малыш, запомни да родне своей расскажи.

Побледнев от гнева, судорожно стиснув зубы, я отчаянно сопротивлялся. С пугающим хладнокровием Пасьянс лозой привязал меня к дереву. Ему ничего не стоило своей широкой мозолистой рукой согнуть меня, как тростинку, а я ведь был на редкость силен для своих лет. К ветке дерева, нависшей надо мною, он привязал сову, и кровь ее капала прямо мне на голову; ужас пронизывал меня. И хотя я знал, что так наказывают охотничью собаку, если она кидается

на дичь, у меня от ярости, отчаяния и воплей моего спутника помутилось в голове; я готов был поверить, что надо мной тяготеет какое-то ужасное заклятие; вздумай Пасьянс превратить меня в сову, я был бы наказан не столь жестоко. Напрасно осыпал я его угрозами, напрасно клялся чудовищно отомстить, напрасно мальчуган снова бросился на колени, тоскливо повторяя:

– Сударь, ради бога, ради вас самих, не троньте его! Мопра убьют вас.

Пасьянс расхохотался, пожал плечами и, вооружившись связкой остролиста, выпорол меня; должен сознаться: это было скорее унижительно, чем больно; едва увидев, что брызнула кровь, он остановился, отшвырнул розгу, и я даже заметил, как внезапно изменился он в лице, как дрогнул его голос, словно он раскаивался в своей жестокости.

– Мопра, – сказал он мне, скрестив руки на груди и глядя на меня в упор, – вот ты и наказан, вот ты и унижен, мой дворянчик; с меня хватит... Видел? Стоит мне пальцем шевельнуть – из тебя и дух вон; не пришлось бы тебе больше пакостить; схоронил бы я тебя тут, под каменным порогом. А кому в голову взбредет искать у старика Пасьянса балованного дворянского сынка? Да я, видишь ли, на зло непамятливый; только ты от боли застонал – я тебя и отпустил. Не люблю я людей терзать: я ведь не Мопра. А тебе не повредит разок самому испытать, каково-то муки терпеть. Может статься, это и отобьет у тебя охоту людей истязать, как из рода в род у Мопра повелось! Ступай! Зла я тебе не желаю; Господь Бог свершил Свой праведный суд. А дядьям своим скажи, пусть хоть на угольях меня жарят или живьем лопают! Небось им кусок поперек горла станет. Подавятся!..

Пасьянс подобрал убитую сову и, угрюмо ее разглядывая, сказал:

– Крестьянский мальчонка такого бы не сделал. Это все дворянские забавы!

И уже с порога до нас донесся возглас, который вырывался у него в минуты больших невзгод и дал основание для его прозвища.

– *Терпение, терпение!*² – воскликнул он.

Если верить кумушкам, в его устах это было заклятие, и всякий раз, как Пасьянс его произносил, с обидчиками его непременно случалась беда. Сильвен перекрестился, чтобы отогнать нечистую силу. Страшное слово прогремело под сводами башни, и дверь с грохотом захлопнулась.

Спутник мой так спешил улизнуть, что чуть не забыл меня развязать, а едва только успел это сделать, взмолился:

– Перекреститесь, Господом Богом вас прошу, перекреститесь, того и гляди – заморозит он вас; не то волки нас загрызут, не то, чего доброго, нечистая сила повстречается!

– Дурак! – воскликнул я. – Подумаешь, велика важность! А вот ежели ты, на свою беду, кому-нибудь проболтаешься о том, что случилось, я тебя удушю!

– Ох, сударь, как же быть-то? – с наивной хитрецей возразил мальчишка. – Ведь колдун велел мне все отцу с матерью рассказать!

Я замахнулся, чтоб его ударить, но силы оставили меня. Задыхаясь от ярости, от всего, что перенес, я был почти что в обмороке; воспользовавшись этим, Сильвен сбежал.

Когда я пришел в себя, я был один; никогда прежде не заходил я в этот незнакомый уголок Варенны. Вокруг было пустынно до ужаса. Весь день нам то и дело попадались волчьи и кабаньи следы на песке. Наступила уже ночь; до Рош-Мопра оставалось еще два лье. Ворота будут закрыты, мост поднят; если я не доберусь туда до десяти часов, меня встретят ружейными залпами. Можно было поставить сто против одного, что, не зная дороги, я не смогу за час пройти два лье. Между тем я скорее согласился бы тысячу раз умереть, нежели просить убежища у обитателя башни Газо, сколь бы милостиво он мне его ни предлагал. Гордыня моя уязвлена была сильнее, нежели плоть.

² «Терпение» по(французски patience («пасьянс»)).

Я наугад пустился дальше. Тропинка без конца петляла; множество стежек пересекало ее то тут, то там. Перейдя через огороженное пастбище, я вышел на равнину. Здесь всякий след тропинки терялся. Наудачу перебравшись через изгородь, я оказался в поле. Была темная ночь, но даже при свете дня немислимо было бы отыскать дорогу среди мелких крестьянских наделов, густо лепившихся по склонам, заросшим колючим терновником. Я разглядел наконец вересковые заросли; за ними шел лес, и мои чуть улегшиеся страхи возобновились; признаюсь, я до смерти боялся. Натасканный на храбрость, как охотничий пес, я был отважен на людях. Движимый тщеславием, при свидетелях я был смельчаком, но среди ночи, предоставленный самому себе, измученный усталостью и голодом, хотя голода я не чувствовал, взбудораженный всем пережитым, я поддался невообразимому смятению. Так блуждал я до рассвета. Я знал наверняка, что дядюшки встретят меня побоями, и все же мечтал о возвращении, словно в Рош-Мопра меня ждал рай земной. Не раз до моего слуха доносился – по счастью, издали – волчий вой; кровь леденела у меня в жилах, и, словно действительность была недостаточно страшной, разгоряченное воображение рисовало самые фантастические картины. Пасьянса называли оборотнем, а вы знаете, что в оборотней верят в любом краю. И вот мне мерещилось, что страшный старик, оскалив волчью пасть, гонится за мною сквозь лесные дебри, а за ним несется голодная волчья стая. Кролики то и дело выскакивали у меня из-под ног, и от неожиданности я чуть не падал навзничь. Тогда, зная, что никто меня не видит, я начинал отчаянно креститься, ибо, притворяясь неверующим, я, конечно, в глубине души был одержим всевозможными суевериями, которые теперь пробудил во мне страх.

К утру я добрался наконец до Рош-Мопра. Переждав во рву, пока откроют ворота, никем не замеченный, проскользнул я к себе в комнату. И, коль скоро пристальное внимание моих дядей отнюдь не походило на неусыпную заботу, ночью никто не обнаружил моего отсутствия. Встретив на лестнице дядю Жана, я уверил его, что только встал; эта уловка оказалась удачной, и я на весь день завалился спать на сеновале.

V

Теперь я был в безопасности и с легкостью мог бы отомстить врагу; все побуждало меня к этому – хотя бы дерзостные речи, в которых Пасьянс поносил моих родичей, не говоря уж об оскорблении, нанесенном мне самому. Признаться в том, что меня подвергли порке, было невыносимо, а между тем стоило мне сказать лишь слово, и семеро Мопра мгновенно вскочили бы на коней, радуясь возможности проучить мужика, не платившего им никакой подати и достойного, по их мнению, виселицы в назидание прочим.

Однако дело не зашло так далеко: уж не знаю почему, мне непреодолимо претила такого рода месть, когда восемь человек нападают на одного. И хотя, обуянный гневом, я поклялся отомстить, меня удерживало какое-то чувство порядочности, которой я сам за собой не замечал. Возможно также, что слова Пасьянса, помимо моего ведома, пробудили в душе моей благодетельный стыд. Заслуженные проклятия, которые обрушивал он на дворянство, заставили меня, быть может, в какой-то степени проникнуться понятиями справедливости. Одним словом, то, что я считал дотоле проявлением слабости или предосудительной жалости, с некоторых пор стало представляться мне, пожалуй, чем-то более значительным и менее постыдным.

Как бы то ни было, обо всем случившемся я молчал. Я только поколотил Сильвена за то, что он удрал от меня и дабы неповадно ему было болтать о моих злоключениях. Горькое воспоминание о них уже заглохло во мне. Однажды, когда осень подходила к концу, случилось мне как-то вновь бродить по лесу вдвоем с Сильвеном. Незадачливый мальчишка постоянно льнул ко мне: только выйду я за ворота замка, а уж он, невзирая на грубое мое с ним обращение, не отстает от меня ни на шаг. Он защищал меня от нападков других мальчишек, утверждая, что я ничуть не злой, а только немного вспыльчивый. Сильвен принадлежал к тем кротким, безответным людям из народа, чье смирение питает гордыню и жестокость сильных мира сего. Так вот, мы расставляли с ним силки на жаворонков, когда мой деревенский паж, то и дело забегавший вперед, на разведку, вернулся и сказал:

– Вот как пить дать повстречался мне оборотень, да с ним еще и крысолов.

Услышав это предупреждение, я задрожал. Но злоба клокотала в моей груди, и я пошел прямо навстречу колдуну: возможно, что присутствие его приятеля, который был завсегда у нас в Рош-Мопра и, как я полагал, должен был отнестись ко мне сочувственно и с уважением, придавало мне некоторую уверенность в себе.

Маркас, прозванный крысоловом, уничтожал крыс, куниц, ласок и других грызунов в жилищах и на полях всей округи. Благодеяния своего ремесла простирали он не только на одних берришонцев: ежегодно один-единешенек пешком обходил он Нивернэ, Марш, Лимузен и Сентонж, навещая каждый уголок, где только у людей хватало ума оценить его по заслугам. Его радушно встречали всюду – и в замках и в лачугах, так как этим ремеслом, переходившим в его семье от отца к сыну, успешно и добросовестно занимались и еще поныне занимаются все в роду Маркасов. Круглый год крысолов был обеспечен кровом и работой. С такой же непогрешимой правильностью, как земля вращается вокруг своей оси, он в определенный срок снова появлялся в тех же местах, где был год назад, с тою же собакой и тою же длинной шпагой в руках.

Маркас был не менее занятен и в своем роде даже более забавен, нежели «колдун» Пасьянс. Унылый и желчный, он был высок, сухощав и угловат, с повадками, исполненными медлительной величавости и задумчивости. Разговаривать он не любил и на все вопросы отвечал односложно; тем не менее он никогда не отступал от правил строжайшей вежливости и, обронив словечко, почтительнейшим и учтивейшим образом прикасался рукой к краю своей треуголки. Был ли он таким молчаливым по натуре или же к благоразумной сдержанности вынуждало его ремесло бродячего крысолова, боязнь необдуманными речами отпугнуть кого-

нибудь из своих многочисленных клиентов? Как знать! Маркас был вхож во все дома: днем перед ним раскрывались любые чердаки, вечером для него находилось местечко у любого кухонного очага. Ему было известно все, что делалось в округе, тем более что его задумчивый, сосредоточенный вид располагал к откровенности; однако он никогда не разносил сплетен.

Маркас, если хотите знать, меня поразил: я сам был свидетелем того, как родичи мои прилагали все усилия, чтобы заставить его разговориться. Они надеялись выведать у него, что делается в замке Сент-Севэр, у господина Юбера де Мопра, бывшего предметом их злобной вражды и зависти. И хотя дон Маркас (эту кличку он заслужил своими манерами и гордостью разорившегося идадьго), – и хотя дон Маркас, говорю я, в этом случае, как и в прочих, оставался непроницаем, Мопра-душегубы всячески улещали его, надеясь вытянуть из него что-либо касательно Мопра-Сорвиголовы.

Итак, никому не дано было знать, какие чувства испытывает Маркас по тому или иному поводу; оставалось предположить, что он вообще не дает себе труда испытывать какие бы то ни было чувства. Однако видимое влечение к нему Пасьянса, который неделями сопутствовал крысолову в его скитаниях, наводило на мысль, что у Маркаса неспроста такой таинственный вид, что тут замешано какое-то колдовство, что не только длина его шпаги и ловкость пса способствуют столь чудесному истреблению крыс и ласок. Поговаривали тайком насчет чародейных трав, с помощью которых он выманивал из нор недоверчивых зверьков, но, поскольку это знахарство было всем на пользу, никто и не думал осуждать Маркаса.

Не знаю, наблюдали ли вы когда-нибудь такую охоту за грызунами. Она занятна, в особенности когда крыс ловят на сеновале. Человек и собака карабкаются по лесенке и с поразительной смелостью и проворством шныряют по чердачным балкам; пес, как кошка, почуявшая мышь, обнюхивает все дыры в стенах, делает стойку и выжидает в засаде, пока «дичь» не попадется на рапиру охотника, который то тут, то там протыкает снопы соломы и решительно истребляет врага; дон Маркас проделывал все это с подчеркнутой значительностью и важностью, и, уверяю вас, это зрелище представлялось столь же занимательным, сколь необычайным.

Завидев верного нашего слугу Маркаса, я счел возможным, презрев колдуна, отважно выступить навстречу. Сильвен глядел на меня с восхищением, да и сам Пасьянс, видимо, не ожидал подобной дерзости. Подчеркивая презрение к врагу, я притворился, что желаю говорить с Маркасом. Тогда Пасьянс легонько отстранил крысолова и, положив тяжелую руку мне на голову, спокойнейшим образом заметил:

– А ты, мой красавчик, попрос с тех пор.

Кровь бросилась мне в лицо. Я отшатнулся и высокомерно процедил:

– Поосторожней, мужик; помни, что если уши у тебя целы, ты обязан этим только моей добротой.

– Уши целы!.. – с горьким смехом повторил Пасьянс.

И, намекая на прозвище, присвоенное моей семье, добавил:

– Ты хочешь сказать, души у нас целы?.. *Терпение! Терпение!*.. Недалеко, может статься, то время, когда мужики у дворян станут не уши, а головы и кошельки резать.

– Замолчите, почтеннейший! – торжественно произнес крысолов. – Такие речи философу не к лицу.

– А ты, пожалуй, прав, – ответил колдун. – И в самом деле, с чего это мне вздумалось мальчонку бранить? Пожалуйся он своим дядьям, они бы меня живьем сварили: я ведь отстегал его летом за одну проделку. Уж не знаю, что там у них в семействе приключилось, но только упустили такой удачный случай ближнему насолить!

– Знай, мужик, – сказал я, – что человек благородного происхождения мстит по-благородному. Не хотел я, чтобы за мою обиду расквитались с тобою те, кто тебя сильнее; годика два подожди, и тогда – слово дворянина! – я повешу тебя собственными, руками на том самом

дереве – уж я-то его сразу узнаю, – что перед входом в башню Газо. Это так же верно, как то, что я Мопра; а ежели ты добьешься у меня пощады, пускай тогда кличут меня оборотнем.

Пасьянс усмехнулся, но внезапно стал серьезным и устремил на меня глубокий взгляд, делавший его лицо столь примечательным. Обернувшись к крысолову, он сказал:

– Странное дело! Есть же что-то в этой породе! Возьми ты самого захудалого дворянчика, он, того и гляди, окажется куда отважнее самого храброго из нас. Э, да чего проще, – добавил он тихо, – так уж они приучены, а нам всё твердят, что мы, мол, рождены покорной скотинкой быть... Но... *Терпение!*..

С минуту он помолчал, потом очнулся от задумчивости и сказал с добродушной иронией:

– Так вам угодно меня повесить, милостивый государь Соломинка? Смотрите только, ешьте побольше, а то не дорастете до такого сучка, чтобы меня выдержал; впрочем, до той поры много еще воды утечет, то ли еще будет...

– Нехорошо, нехорошо, – с серьезным видом произнес крысолов. – Ну, да ладно, мир! Господин Бернар, простите Пасьянсу – старик ведь сумасшедший!

– Ну уж нет! Пускай меня вешает! – воскликнул Пасьянс. – Он прав, так мне и надо! А ведь, в самом деле, пожалуй, так оно и будет, прежде чем что другое произойдет. Не торопись расти, барчук: сам-то я уж слишком быстро старею, а ты такой храбрец – не захочешь ведь ты напасть на беззащитного старца?

– А ты разве на меня не напал? – воскликнул я. – Разве это не произвол? Говори, разве это не подлость?

Пасьянс развел руками:

– Эх! детишки, детишки! Ты погляди, как рассуждает! Устами младенцев глаголет истина.

И он удалился в задумчивости, по своему обыкновению бормоча себе под нос какие-то изречения. Маркас снял шляпу и, отвесив мне поклон, бесстрастно сказал:

– Он неправ... жить надобно в мире... в покое... прощать!..

Оба исчезли, и на этом мое знакомство с Пасьянсом оборвалось. Возобновилось оно лишь долгое время спустя.

VI

Мне было пятнадцать лет, когда дед мой умер. Особой горести смерть его ни в ком не вызвала, но обитателей замка повергла в совершенное уныние. Дед являлся вдохновителем всех пороков, процветавших в Рош-Мопра, и, однако, при всей своей жестокости он был менее подлым, нежели его сыновья. С кончиной деда угас и тот ореол славы, который стяжала нам его отвага. Сыновья, дотеле еще соблюдавшие какую-то благопристойность, теперь все больше превращались в пьяниц и распутников. К тому же набеги их с каждым днем становились все губительнее для окрестных жителей.

С нами оставалась лишь кучка наших ленников; содержали мы их хорошо, и все они были преданы нам, но обособленность наша и отсутствие поддержки давали себя знать. Насилия, чинимые нами, привели к тому, что округа обезлюдела. Мы внушали страх, и с каждым днем ширилась пустыня, образовавшаяся вокруг нас. Приходилось поэтому делать все более далекие вылазки, до самых окраин равнины. Здесь превосходство было не на нашей стороне; в одной из стычек тяжело ранили самого смелого из нас – дядю Лорана. Мы вынуждены были искать других источников существования. Их придумал Жан. Ловко шныряя по ярмаркам под самым разным обличем, мы стали заниматься кражами. Были мы разбойниками, а сделались ворами, и презренное наше имя все более покрывалось позором. Мы стакнулись со всякими темными личностями, укрывавшимися в провинции, оказывая им, а они – нам, мошеннические услуги; так нам снова удалось избежать нищеты.

Я говорю «мы», ибо по смерти деда и я примкнул к этой своре душегубов. Уступая моим просьбам, дед незадолго до кончины разрешил мне разок-другой принять участие в набегах. Итак, перед вами человек, чьим ремеслом был разбой. Но оправдываться я не стану. Воспоминания отнюдь не пробуждают во мне угрызений совести – ведь не испытывает же их солдат, проделавший поход под командой своего генерала. Я полагал, что мы всё еще живем в пору Средневековья. Сила и мудрость установленных законов были для меня пустыми словами. Я чувствовал себя отважным и сильным, я сражался. Правда, последствия наших побед зачастую заставляли меня краснеть; но, не пожиная их плодов, я тем самым как бы умывал руки и нынче вспоминаю с удовлетворением, что не раз помогал поверженной жертве подняться и бежать.

Жизнь эта, утомительная, бурная и чреватая опасностями, отупляла. Она отвлекала от мучительных раздумий, какие могли бы зародиться в моей голове. Кроме того, она спасала меня от докучливой тирании Жана. Однако после смерти деда, когда шайка Мопра докатилась до подвигов иного рода, я снова подпал под ненавистное владычество Жана. К обману и мошенничеству я был вовсе неспособен, к новому промыслу обнаруживал не только отвращение, но и полную непригодность. Дядья смотрели на меня как на обузу и снова стали дурно со мною обращаться. Они бы меня выгнали, но боялись, что, примирившись с обществом, я стану для них опасным врагом. Перед ними был выбор: либо кормить меня, либо обрести в моем лице грозного противника; предполагалось (я узнал об этом позднее), придравшись к случаю, поспорить со мною, затеять драку и в драке от меня избавиться. Таково было предложение Жана. Но Антуан, более других унаследовавший твердость и своеобразную «отеческую» справедливость Тристана, возражал, доказывая, что я скорее полезен для шайки, нежели приношу ей вред. Я, мол, хороший вояка, а может случиться, что понадобится и лишняя пара кулаков. К тому же я могу еще «образоваться» по части жульничества: я еще весьма юн и весьма невежествен, но если бы Жан захотел покорить меня кротостью, смягчить мою незавидную участь, а главное, просветить насчет истинного положения вещей, разъяснив, что для общества я погиб, что стоит мне появиться в кругу порядочных людей, как меня немедленно повесят, – тогда, быть может, мое упрство и гордыня будут сломлены, и я отступлю перед соблазном благопо-

лучия, с одной стороны, и перед неизбежностью – с другой. Прежде чем от меня избавиться, надо хотя бы испытать это средство.

– Ведь в прошлом году нас было десять Мопра, – заключил свои наставления Антуан. – Отец умер; ежели мы убьем Бернара, нас останется всего восемь.

Этот довод всех убедил. Меня выпустили из домашней темницы, где я томился уже несколько месяцев; выдали мне новую одежду; старое ружье заменили превосходным карабином, о каком я мог только мечтать; вкратце обрисовали, что ждет меня в обществе; стали наливать мне за обедом лучшее вино. Я обещал поразмыслить, а пока что тупел от безделья и пьянства, пожалуй, больше, нежели прежде от разбоя.

Между тем пребывание в темнице оставило во мне столь гнетущее воспоминание, что я поклялся самому себе скорее подвергнуться любым превратностям, уготованным мне во владениях французского короля, нежели снова терпеть жестокое обращение моих дядюшек. Только ложно понятое чувство чести удерживало меня в Рош-Мопра. Тучи над нашими головами явно сгущались. Вопреки нашим стараниям расположить к себе крестьян, те проявляли недовольство: свободолюбивые учения исподволь проникли и к ним; даже самым верным нашим слугам наскучило сытно есть да пить; они требовали денег, а их-то у нас и не было. Не раз получали мы повестки об уплате налогов в казну; займодавцы, королевские сборщики податей и мятежные крестьяне – все было против нас, и все грозило нам гибелью, такую же, какая незадолго до того постигла в наших краях сеньора Племартэна³.

Дядья мои долгое время тешили себя надеждой, что, примкнув к нему, общими силами будут грабить население и оказывать сопротивление властям. Одолеваемый врагом, Племартэн обратился к нам за помощью, давая слово считать нас отныне друзьями и союзниками; но тут мы узнали о его поражении и злосчастной гибели. Понятно, что мы всегда были начеку. Приходилось либо покинуть эти края, либо одолеть жестокую судьбу. Кое-кто из Мопра советовал избрать первый путь, другие упорствовали в желании последовать завету старика Мопра, хотя бы и пришлось погибнуть под развалинами замковой башни. Всякую мысль о бегстве или перемирии они называли трусливой и подлой. Боязнь заслужить подобный упрек, а быть может, и врожденное пристрастие ко всякого рода опасностям еще удерживали меня от разрыва с дядьями; но во мне уже зрело отвращение к их гнусному образу жизни, готовое в любую минуту бурно прорваться наружу.

Как-то после обильного ужина мы остались за столом и продолжали попойку, толкуя бог весть о чем, да еще в самых непристойных выражениях. Погода была отвратительная; через плохо пригнанные оконные рамы на пол проникала вода, а ветхие стены содрогались от бури. Ночной ветер свистел в расщелинах сводов, колебля пламя смоляных факелов. Во время попойки собутыльники немало издевались над моей пресловутой «добродетелью», объясняя мою дикую робость в обращении с женщинами обетом воздержания. Пробудив во мне таким образом ложный стыд, они и довели меня до беды. Защищаясь от грубых издевок и отвечая в том же духе, я пил до бесчувствия. Распаленный яростной игрой воображения, я стал похваляться, что буду дерзновенней и удачливей в любви, чем мои дядья, и докажу это с первой женщиной, попавшей в Рош-Мопра. Под громкий хохот присутствующих вызов мой был принят. Взрывам дьявольского смеха вторили раскаты грома.

Вдруг у ворот замка прозвучал рог. Все замерли в молчании. Трубными звуками Мопра созывали своих и давали о себе знать друг другу. Теперь же рог возвещал, что после дневного отсутствия в замок возвращается дядя Лоран и ждет, чтобы его впустили. У нас было доста-

³ Сеньор Племартэн оставил по себе в этом краю память, которая избавляет рассказ Мопра от упреков в преувеличении. Перо не в силах описать скотскую непристойность и утонченное мучительство, какими была отмечена жизнь этого безумца. Своей разнузданностью он поощрял разбойничьи феодальные обычаи, процветавшие в Берри до последнего дня старой монархии. Замок сеньора Племартэна был осажден, а сам он, невзирая на упорное сопротивление, схвачен и повешен. Многие из поныне здравствующих лиц, даже не очень преклонного возраста, знали его. (Примеч. автора.)

точно поводов для опасений, поэтому, никому не доверяя, мы сами были ключниками и привратниками у себя в крепости. Жан поднялся, гремя связкой ключей, но замер, прислушиваясь к звукам рога, которые означали, что охотник вернулся с добычей и ждет, чтоб его встретили. В мгновение ока все Мопра, кроме меня, с факелами в руках очутились у опускной решетки; я же, охваченный глубоким безразличием ко всему и хмельной, едва держался на ногах.

– Если только это женщина, – воскликнул Антуан, выходя, – клянусь спасением отцовской души, щенок, мы присудим ее тебе! На словах ты удалец, а вот посмотрим, каков ты на деле!

Я по-прежнему сидел, облокотившись о стол, перемогая дурноту.

Дверь снова отворилась, и в залу уверенной походкой вошла необычайно одетая женщина. Я должен был сделать над собой усилие, чтобы окончательно не растеряться и понять, что нашептывал мне на ухо один из дядюшек. В самый разгар облавы на волков, в которой приняли участие многие из окрестных сеньоров с женами, лошадь этой юной особы испугалась и понесла. Когда же разгоряченный конь, ускакав примерно на одно лье от места охоты, наконец успокоился, всадница решила повернуть назад; но, плохо зная Варенну, все уголки которой похожи один на другой, она окончательно сбилась с пути. Гроза и ночной мрак повергли ее в полное замешательство. Попавшийся ей навстречу Лоран предложил проводить ее в замок Рошмор, где он якобы состоял лесничим; этот замок расположен был, по его словам, совсем неподалеку, в действительности же отстоял более чем на шесть лье от места их встречи. Дама приняла его предложение. Не будучи знакома с владелицей Рошмора, она находилась с ней в отдаленном родстве и льстила себя надеждой, что ей окажут гостеприимство. Никого из Мопра она никогда в глаза не видала: к тому же ей и в голову не приходило, что она находится поблизости от их логова. Поэтому незнакомка и последовала столь доверчиво за своим проводником; ей никогда в жизни не приходилось бывать в Рош-Мопра, и, позволив проводить себя в этот приют наших распутств, она вступила в залу, не подозревая, что попала в ловушку.

Я протер ослобившиеся глаза и уставился на эту юную красавицу; от нее веяло спокойствием, прямотушеством и чистотой, каких я не видывал на лицах тех, что попадали за решетку нашего замка (все это были либо наглые, продажные твари, либо покорные жертвы), и мне почудилось, что я вижу сон.

В рыцарских легендах, прочитанных мною, подвизались феи. Я почти поверил, что не то волшебница Моргана^[14], не то Урганда^[15] явилась вершить над нами суд и расправу; на минуту мной овладело желание пасть на колени, чтобы оспорить приговор, ставивший меня на одну доску с моими дядьями. Лоран поспешил предоставить слово Антуану, и тот, обратившись к незнакомке со всей учтивостью, на какую только был способен, принес извинения за охотничий наряд – свой и своих друзей. Они – племянники и двоюродные братья госпожи де Рошмор и ждут, когда эта крайне набожная дама вернется из часовни, закончив благочестивую беседу со своим духовником, дабы всем вместе сесть за стол.

При виде простодушия и доверчивости, с какими незнакомка выслушала эту забавную ложь, сердце мое сжалось, но я не отдавал себе отчета в своих чувствах.

– Я не желала бы беспокоить госпожу де Рошмор, – ответила дама дяде Жану, который, словно сатир, прилежно увивался вокруг нее, – уж очень мучает меня, что в эту минуту отец мой и друзья тревожатся обо мне: не хотелось бы здесь задерживаться. Передайте госпоже де Рошмор, что я молю ее предоставить мне свежего коня и проводника, чтобы я могла вернуться туда, где, как я полагаю, меня ждут.

– Сударыня, – с твердостью возразил Жан, – немисливо снова пускаться в путь в такую непогоду; к тому же это лишь отдалит вашу встречу с друзьями, которые вас разыскивают. Дюжина наших слуг с факелами в руках, верхом на добрых конях тотчас же отправятся в разных направлениях; они обрыщут все уголки Варенны. Не иначе как через два часа, – и это самое большее, – родные узнают о вас, и вы увидите их здесь, где им уготовлен гостеприимный

кров. Будьте же покойны и выпейте чего-нибудь подкрепляющего, чтобы восстановить свои силы: ведь вы промокли и разбиты усталостью.

– Я чувствовала бы голод, если б меня не одолевала тревога, – улыбаясь, ответила дама. – Попробую поесть; только не хлопчите, мне ничего особенного не нужно. Вы и так добры сверх меры.

Она подошла к столу, где, как прежде, облокотившись, сидел я, и, не обращая на меня внимания, взяла что-то из фруктов, лежавших на столе. Я обернулся и уставился на нее с глупым и наглым видом. Она надменно выдержала мой взгляд. Так, по крайней мере, мне показалось. Позже я узнал, что она меня даже и не заметила, ибо, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойной и отплатить доверием за оказанное ей гостеприимство, она была весьма смущена неожиданным присутствием такого множества странных, подозрительного вида, дурно одетых мужчин. И все же опасения не приходили ей в голову.

Я расслышал, как где-то рядом один из дядюшек сказал Жану:

– Ловко! Все идет как по маслу: попалась птичка в сети! Надо ее напоить – она защебечет.

– Погоди-ка, – ответил Жан, – постереги ее, тут дело серьезное, почище, чем простое развлечение. Надо нам посоветоваться, тебя позовут, когда понадобится; пригляди только за Бернаром.

– А что? – резко спросил я, оборачиваясь к Жану. – Разве эта девка не моя? Разве дядя Антуан не клялся мне спасением отцовской души?

– Черт побери! А ведь он прав!.. – сказал Антуан, подходя к нам, тогда как остальные Мопра окружили даму. – Послушай-ка, Бернар, я сдержу слово, но при одном условии...

– Каком же?

– Очень простом: пока что помалкивай – пусть красотка не знает, что попала не к старой Рошморихе.

– За кого вы меня принимаете? – ответил я, нахлобучив шляпу на глаза. – Дурак я, что ли? Пойдите-ка... Хотите, притащу сверху бабкино платье и прикинусь благочестивой Рошморихой?

– Хорошая мысль, – сказал Лоран.

– Да, но прежде мне надо с вами потолковать, – возразил Жан.

И, подав братьям знак, он увел их прочь. Мне показалось, что, выходя, Жан поручил Антуану за мною присматривать, но тот с непонятным мне упорством отказался и пошел вместе с ними. Я остался наедине с незнакомкой.

Я был ошеломлен, растерян, и пребывание с ней наедине, скорее, повергло меня в замешательство, нежели обрадовало; затем я постарался отдать себе отчет в таинственных событиях, происходящих вокруг, и в угаре винных паров мне стало мерещиться довольно правдоподобное, но, как оказалось, совершенно неверное объяснение.

Все, чему я был свидетель, я толковал так: во-первых, эта столь безмятежная и нарядная дама – какая-нибудь веселая девица из тех, что не раз попадались мне на ярмарках; во-вторых, встретив ее на большой дороге, Лоран доставил ее в замок для развлечения всей честной компании; и, в-третьих, ей рассказали о моем пьяном бахвальстве и решили, подглядывая за нами в замочную скважину, проверить, насколько я опытен в обхождении с прекрасным полом... И как только меня осенила эта мысль, я вскочил, подошел к двери и, дважды повернув ключ, задвинул засов, после чего возвратился к даме с твердым намерением не дать ей повода посмеяться над моей робостью.

Незнакомка сидела под навесом очага и, склонившись над огнем, сушила промокшую одежду, поэтому она не обратила внимания на то, что я запер дверь; но когда я подошел к ней, странное выражение моего лица заставило ее вздрогнуть. Для начала я решил ее поцеловать; однако стоило ей поднять на меня глаза, и – о чудо! – развязность моя мгновенно испарилась, у меня хватило духа только сказать:

– Ей-ей, барышня, вы прелестны и мне нравитесь; это так же верно, как то, что я зовусь Бернар Мопра.

– Бернар Мопра? – воскликнула она вскакивая. – Вы, вы Бернар Мопра? Так прекратите же эти речи, вспомните, с кем вы говорите! Разве вам ничего не сказали?

– Мне-то не сказали, да я сам догадываюсь, – ухмыляясь, ответил я, подавляя в себе невольное почтение, какое внушала мне ее внезапная бледность и властное обращение.

– Догадываетесь – и так со мной разговариваете? – сказала она. – Возможно ли? Впрочем, мне ведь говорили, что вы дурно воспитаны, а все-таки мне всегда хотелось с вами встретиться.

– Неужто? – все так же с ухмылкой ответил я. – Эх вы, принцесса с большой дороги! Небось многих знавали на своем веку? Позвольте-ка, моя прелесть, приложиться к вашим губкам, и увидите, что я воспитан ничуть не хуже моих дядюшек, а с ними вы только что были так милы...

– Ваших дядюшек? – воскликнула она и, внезапно схватив свой стул, как бы движимая инстинктом самозащиты, поставила его между нами. – О боже! боже! Стало быть, я не у госпожи Рошмор?

– Звучит похоже, начало, во всяком случае, такое же...

– Рош-Мопра!.. – прошептала она, затрепетав, словно лань, которая слышит завыванье волчьей стаи.

Губы ее побелели, черты исказила тревога. Я тоже задрожал, охваченный невольным состраданием, и чуть было сразу не переменял обращение. «Что же ее удивляет? – думалось мне. – Уж не играет ли она комедию? Предположим, Мопра и не подслушивают нас где-нибудь здесь, под дверью; не перескажет ли она им потом слово в слово все, что произойдет между нами? Но ведь она дрожит как осиновый лист. А что, если она комедиантка? Я видел такую – она играла Женевьеву Брабантскую^[16] и плакала так, что вправду ей поверишь». Весьма озадаченный, я растерянно глядел то на нее, то на двери, ожидая, что вот-вот под громкий хохот моих дядюшек они распахнутся настежь.

Эта женщина была хороша как ясный день. Не думаю, чтоб когда-либо еще существовала такая красавица. Это не только мое мнение: слава о ее красоте и по сию пору не померкла в наших краях. Стройная, довольно высокого роста, она держалась удивительно непринужденно. У нее были черные глаза, белая кожа и волосы как вороново крыло. В улыбке и взоре непостижимо сочеталось выражение доброты и проницательности; казалось, Небо подарило ей две души: одну – воплощение ума, другую – воплощение чувства. Она по натуре была весела и бесстрашна: горести людские еще не посмели коснуться этого ангела; ничто не заставило ее страдать, ничто не научило подозрительности и страху. Итак, страдала она впервые, и это я, грубое животное, был тому виною. Я принимал ее за распутную женщину, она же была ангелом чистоты.

Юная Эдме де Мопра приходилась мне двоюродной теткой. Она была дочерью господина Юбера, прозванного «кавалером», которому я доводился внучатым племянником. Господин Юбер, будучи уже в летах, вышел из мальтийского ордена и только тогда женился; моя тетушка и я были ровесниками. И мне и ей исполнилось семнадцать лет, разница в возрасте составляла несколько месяцев. И это была наша первая встреча! Та, кого я любой ценой, ценой собственной жизни, обязан был бы защищать против всех и вся, удрученная стояла передо мной, трепеща, словно жертва перед палачом.

Я озабоченно шагал по зале. Она сделала над собой огромное усилие, подошла ко мне и, назвав свое имя, добавила:

– Не может быть, чтобы вы оказались таким же негодяем, как все эти разбойники; я знаю, какую гнусную жизнь они ведут. Вы молоды, ваша мать была добрая и умная женщина. Отец мой хотел усыновить и воспитать вас. Он до сих пор сожалеет, что ему не удалось извлечь вас из пропасти, в которой вы очутились. Он писал вам не раз. Неужто вы не получали его писем?

Вспомните об узах крови, Бернар, ведь вы мой близкий родственник; зачем же хотите вы надо мной надругаться? Убьют меня тут или станут пытать? Почему они обманули меня, сказали, что я в Рошморе? Почему ушли с таким таинственным видом? Что они затевают? Что здесь происходит?

Слова замерли у нее на устах: снаружи донесся ружейный выстрел. Ему ответила кулеврина, и зловещие звуки рога возвестили тревогу, потрясая мрачные стены башни. Мадемуазель де Мопра упала на стул. Я не двинулся с места, подозревая, что все это лишь продолжение комедии, придуманной, чтобы надо мной посмеяться; я твердо решил не обращать внимания на тревогу, пока не получу веские доказательства, что она не ложная.

– Ну что ж, – сказал я, подходя к гостье, – признайтесь, что это шутка: вы не мадемуазель де Мопра, и хотите испытать, насколько я искушен в любви.

– Клянусь богом, – ответила она, беря меня за руки своими холодными как лед руками, – я Эдме, ваша родственница, ваша пленница, ваш друг; ведь я всегда помнила о вас, всегда умоляла отца не оставлять вас... Но послушайте, Бернар, там идет перестрелка, я слышу ружейные залпы! Это, наверно, отец! Он явился за мной, его убьют! Ах, Бернар, голубчик, бегите туда! – вскричала она, упав передо мной на колени. – Не давайте им убить его! Уговорите их пощадить отца! Ведь это лучший из людей! Скажите им: раз уж они так нас ненавидят, так жаждут пролить нашу кровь, пусть убьют меня! Пусть вырвут мое сердце, но пощадят отца...

Снаружи донесся негодующий возглас.

– Где этот трус? Где этот щенок проклятый? – кричал дядя Лоран.

Он стал неистово дергать дверь; она была надежно заперта и выдержала его натиск.

– Вот негодяй! Тешится любовью, а нас тут покамест потрошат. Бернар, стражники напали! Дядя Луи убит. Выходи, Бернар, бога ради, выходи!

– Ну вас к черту! – воскликнул я. – Туда вам и дорога! Ни единому слову вашему не верю! Не так я глуп, как вы воображаете; трусы вы и лгуны вдобавок!.. А я поклялся, что эта женщина будет моя, и отпущу ее, когда мне вздумается!

– Ступай ты к черту!.. – ответил Лоран. – Нечего прикидываться...

Мушкетные выстрелы раздавались все чаще. Послышались ужасные вопли. Лоран перестал ломиться в дверь и поспешил на шум. Подобная торопливость столь убедительно подтверждала истинность его слов, что приходилось им верить. При мысли, что меня могут обвинить в трусости, я бросился к дверям.

– О Бернар! О господин де Мопра! – воскликнула Эдме, неотступно следуя за мной. – Позвольте мне пойти с вами; я брошусь к ногам ваших дядюшек, я заставлю их прекратить эту бойню, отдам им все, что у меня есть, жизнь мою, ежели они того пожелают, но спасу отца!..

– Погодите, – сказал я, обернувшись к ней. – А вдруг они надо мной подшутили? Пока прохвосты слуги постреливают во дворе, дядюшки стоят, пожалуй, под дверью да только и ждут, чтобы поднять меня на смех. Тетка ли вы мне двоюродная или какая-нибудь там... Поклянись сначала, тогда и я тоже дам клятву. Если вы доступная девица, а я поверю вашему кривлянью и оставлю вас в покое, клянись, что станете моей любовницей и не потерпите никого другого возле себя, пока я не воспользуюсь своим правом; иначе, даю слово, я проучу вас, как проучил нынче утром мою пегую суку Флору. Если же вы Эдме, клянусь, что своим телом заслону вашего отца от всякого, кто покусится на его жизнь. Но что обещаете мне вы, какую клятву дадите?

– Спасите отца, и клянусь, я стану вашей женой! – воскликнула она.

– За мной дело не станет! – ответил я, воодушевленный ее порывом, хотя ее благородная самоотверженность и недоступна была моему разумению. – Но я должен иметь залог, чтобы в любом случае не остаться в дураках!

Она без сопротивления позволила себя поцеловать; щеки ее были холодны как лед. Машинально пошла она за мною к выходу; я вынужден был ее оттолкнуть, и хотя сделал это

легонько, она упала словно без чувств. Мало-помалу я начинал понимать, в каком очутился положении: в коридоре не было ни души, а крики и пальба, доносившиеся снаружи, становились все более угрожающими. Я бросился к оружию, но вдруг, побуждаемый подозрительностью, а возможно, и каким-то иным чувством, вернулся и на два поворота ключа запер двери залы, где оставил Эдме. Сунув ключ в карман и на бегу заряжая ружье, я поспешил к укреплениям.

Оказалось, что на нас просто напали стражники, все это не имело никакого отношения к мадемуазель де Мопра. Заимодавцы добились приказа о взятии нас под стражу. Судейские, терпевшие от Мопра побои и поношение, потребовали у королевского прокурора при областном суде в Бурже распоряжение об аресте, которое весьма усердно старались выполнить вооруженные стражники. Они рассчитывали, что ночью, застигнув нас врасплох, легко с нами справятся. Но мы оказались более подготовленными к обороне, нежели они полагали; наши люди были отважны и хорошо вооружены; к тому же бились мы не на жизнь, а на смерть, дрались с храбростью отчаяния, и в этом было наше огромное преимущество. Наш отряд состоял из двадцати четырех человек, у противника было более полусотни солдат. Десятка два крестьян метали в нас камни с обоих флангов, но они причиняли больший ущерб своим союзникам, нежели нам.

Ожесточенная схватка продолжалась около получаса, затем враг, уstraшенный решительным отпором, отступил и прекратил атаку; но вскоре он вновь перешел в наступление и был отброшен, понеся потери. Атака опять была приостановлена. Нам троекратно предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь. Антуан Мопра ответил непристойной издевкой. Стражники были в нерешительности, но не уходили.

Я храбро сражался, выполняя то, что почитал своим долгом. Передышка затянулась. Во мраке нельзя было судить о местонахождении неприятеля; сберегая драгоценный порох, мы не решались стрелять наугад. Опасаясь, что враг возобновит нападение, все мои дядя как пригвожденные стояли у крепостной стены. Дядя Луи был тяжело ранен. Я вспомнил о моей пленнице. В начале боя я слышал, как Жан Мопра предложил в случае нашего поражения выдать ее неприятелю при условии, что тот снимет осаду, если же нет – повесить на глазах у врага. Я не мог более сомневаться в правдивости слов незнакомки. Победа клонилась как будто на нашу сторону, и о пленнице забыли. Тут я заметил, что хитрец Жан, оторвавшись от любезной его сердцу кулеврины, из которой он палил с таким увлечением, во мраке крадется куда-то, словно кот. Неимоверная ревность овладела мною. Я бросил ружье и поспешил за Жаном, стиснув в руке нож и готовый, пожалуй, заколоть хитреца, если только он коснется той, которую я почитал своею добычей. Он подошел к двери, попытался ее открыть и внимательно поглядел в замочную скважину, желая убедиться, что жертва от него не ускользнула. Перестрелка возобновилась. Жан с поразительным при его хромоте проворством повернулся и, припадая на одну ногу, побежал к укреплениям. Притаившись во мраке, я пропустил его мимо и не пошел за ним. Не жажда убийства, а другая страсть овладела мною. Вспышка ревности воспламенила мою чувственность. От порохового дыма, крови, шума, грозившей нам опасности и водки, к которой мы то и дело прикладывались вкруговую, желая подбодриться, голова моя была как в огне. Достав из-за пояса ключ, я поспешно отомкнул двери, и когда предстал перед пленницей, я не был уже тем колеблющимся, неотесанным юнцом, которого ей удалось растрогать. Перед нею стоял свирепый разбойник из Рош-Мопра, на сей раз во сто крат более опасный, нежели прежде. Она стремительно бросилась мне навстречу. Я раскрыл ей свои объятия, но это не испугало ее; с возгласом: «Где мой отец?» – она кинулась мне на грудь.

– Отец? – сказал я, целуя ее. – Да его там нет. Он тут ни при чем, как, впрочем, и ты. Мы попросту уложили с дюжину жандармов, вот и все. И, как всегда, победа за нами. Так что не тревожься об отце, как я не тревожусь о королевских служаках. Да будет мир меж нами, и предадимся любви!

С этими словами я поднес к губам жбан с вином, оставленный на столе. Но она властно вырвала его у меня из рук; это придало мне смелости.

– Не пейте больше, – сказала она, – подумайте, что вы говорите. Так это правда? Можете вы поклясться честью, спасением души вашей матушки?

– Сущая правда, клянусь вашими прелестными розовыми губками, – отвечал я, пытаюсь снова ее поцеловать.

Но Эдме в страхе отшатнулась.

– О боже! – воскликнула она. – Он пьян! Бернар! Бернар! Вспомните ваше обещание! Где ваше слово? Теперь-то вы ведь знаете, что я ваша кузина, ваша сестра!

– Ты либо моя любовница, либо жена, – твердил я, продолжая ее преследовать.

– Вы негодяй! – возразила она, отгоняя меня хлыстом. – Чем заслужили вы какие-то права на меня? Спасли моего отца?

– Я поклялся его спасти и спас бы, конечно, будь он здесь; стало быть, все равно что спас. А знаете ли, ежели бы я на этом попался, в Рош-Мопра придумали бы для меня самую жестокую, самую мучительную пытку! Да меня бы сожгли на медленном огне за измену! Я клялся не таясь, меня могли услышать. Правда, это не слишком меня заботит; не так уж я дорожу жизнью – днем раньше, днем позже. Но вашими милостями, моя красотка, я дорожу и разыгрывать томного рыцаря не намерен; насмехаться над собою я не позволю. Решайтесь: либо вы будете моею сейчас же, либо, клянусь честью, я снова вмешаюсь в перепалку, и, если меня убьют, пеняйте на себя. Вы лишитесь вашего рыцаря, и вам придется иметь дело с семерыми Мопра сразу. Их-то в узде не удержишь! Боюсь, что лапки у вас для этого чересчур слабы, прелестная моя кошечка!

Я ронял бессвязные слова с единственной целью – отвлечь ее внимание и завладеть ее руками, заключить ее в объятия; на нее же мои речи произвели сильное впечатление. Отбежав в другой конец залы, она попыталась отворить окно; но ей не под силу было сдвинуть с места заржавевшую задвижку свинцовых рам. Старания ее меня рассмешили. Охваченная тревогой, она скрестила руки и замерла; потом выражение ее лица внезапно переменялось, – казалось, она приняла решение: подошла и, улыбаясь, протянула мне руку. И так прекрасна была она в ту минуту, что словно туман поплыл у меня перед глазами и на мгновение скрыл ее от моих взоров.

Простите мне это ребячество, но я должен рассказать вам, как она была одета. После той необычайной ночи она никогда больше не надевала этот наряд, и все же я запомнил его до мелочей. Давно это было. Ну что же, проживи я еще столько, не забуду ни малейшей подробности – так поразил меня ее вид среди смятения, царившего вовне и внутри меня, когда ружейная пальба гремела на крепостном валу, молнии бороздили небо и буйный трепет стремительно гнал мою кровь от сердца к мозгу и обратно.

О, как она была хороша! Образ ее и сейчас еще стоит у меня перед глазами. Говорю вам, словно сейчас вижу ее в наряде амазонки, какой носили в те времена: на ней была очень широкая суконная юбка; стан обтянут жемчужно-серого цвета атласным корсажем на пуговичках и перехвачен красным шарфом. Поверх надет, по тогдашней моде, короткий охотничий жакет, обшитый галунами и открытый на груди; серая фетровая шляпа с широкими, загнутыми спереди полями, увенчанная полудюжиной красных перьев, покрывает ее ненапудренные волосы, приподнятые на лбу и ниспадающие на спину двумя длинными косами, как носят уроженки Берна. Косы такие длинные, что почти касаются земли.

Это, как мне показалось, волшебное одеяние, и цветение юности, и благосклонность, с какою Эдме как будто принимала мои домогательства, – всего этого было довольно, чтобы я обезумел от любви и восторга. Я не мыслил ничего более сладостного, нежели обладание прекрасной женщиной, которой неведомы непристойные слова и покаянные слезы. Моим первым порывом было заключить ее в объятия, но, подчиняясь непобедимой потребности преклоне-

ния, отличающей первую любовь даже у самых грубых людей, я упал к ее ногам и обнял ее колени. И при этом я все еще воображал, что предмет моего поклонения самая настоящая распутница. Тем не менее я был близок к обмороку.

Она обняла мою голову своими прекрасными руками, восклицая:

– Ведь я знала, знала, что вы не такой, как эти выродки! Ах, боже мой! Вы спасете меня! Хвала Создателю!.. Родной мой, скажите же – куда?.. Скорей!.. Бежим!.. Через окно? О нет, сударь, я не боюсь! Идемте же!

Я словно очнулся от сна, и, признаюсь, пробуждение мое было чрезвычайно тягостным.

– Что это значит? – спросил я, вставая с колен. – Вы мной играете? Разве вы забыли, где находитесь? Уж не считаете ли вы меня ребенком?

– Знаю, что я в Рош-Мопра, – бледнея, ответила она, – и надо мной, того и гляди, надругаются, убьют, если мне не удастся внушить вам хоть каплю жалости! Но мне это удастся! – воскликнула она, падая к моим ногам. – Вы не такой, как эти негодяи! Вы слишком юны, вам ли быть таким чудовищем! Я по лицу вашему прочла, что вам жаль меня. Вы поможете мне бежать, ведь правда? Правда же, душа моя?

Она схватила мои руки и стала осыпать их горячими поцелуями, пытаюсь поколебать мою решимость; я слушал и тупо глядел на нее, что едва ли могло ее успокоить. Мое сердце было мало доступно великодушию и состраданию, а в эту минуту страсть, более властная, нежели все прочие чувства, заглушила в нем жалость, которую пыталась пробудить Эдме. Я пожирал ее глазами, не понимая ни слова из того, что она говорит. Одно только занимало меня: нравлюсь ли я ей или она хочет воспользоваться мною как орудием своего освобождения.

– Вижу, вы меня боитесь, – сказал я. – Напрасно: ведь я не причиню вам зла. Вы так красивы, что я жажду лишь ваших ласк.

– Да, но ваши родичи убьют меня, – воскликнула она, – вы хорошо это знаете! Неужто вы дадите меня убить? Ведь я вам нравлюсь, спасите же меня, потом я вас полюблю.

– О да, конечно, вы меня полюбите потом, – ответил я, глупо и недоверчиво усмехаясь, – потом, когда подговорите жандармов меня повесить, а я как-никак изрядно их отделал. Ну, нет, прежде докажите, что меня любите, а уж потом я вас спасу! Тоже – потом!..

Тщетно гонялся я за нею по комнате: она ускользала. Но гнева она не обнаруживала и пыталась повлиять на меня ласковыми уговорами. Щадя во мне свою последнюю надежду, несчастная боялась меня разозлить. О, если бы мне дано было понять, что это за женщина, понять, какую роль я играю! Но, одержимый одной неотвязной мыслью, достойной хищного волка, если бы он мог мыслить, я был на это не способен.

В ответ на все ее мольбы я твердил одно:

– Любишь ты меня или глумишься надо мной?

Наконец она поняла, с каким животным имеет дело, и решилась. Обвив руками мою шею, спрятав лицо у меня на груди, она позволила целовать свои волосы. Потом, мягко отстранив меня, сказала:

– Ах, боже мой! Неужто ты не замечаешь, что я люблю тебя, что ты понравился мне с первой же минуты, как я тебя увидела? Но пойми же, твои дяди ненавистны мне, я хочу принадлежать одному тебе!

– Ну да! – упрямо возразил я. – А сами-то думаете: «Вот дурень! Я смогу убедить его в чем угодно; стоит лишь мне сказать, что я его люблю, он и поверит, а я приведу его на виселицу!» Так вот, если вы меня любите, довольно одного только слова.

Эдме глядела на меня в тревоге, а я все искал ее губ, она же пыталась увернуться от моих поцелуев. Я держал ее руки в своих, теперь она могла лишь отдалить минуту своего поражения. Внезапно бледное ее лицо порозовело, она улыбнулась и с ангельски-кокетливым видом спросила:

– А вы? Вы меня любите?

С этой минуты победа оставалась за нею. У меня уже не было силы желать того, чего я желал; в моем рысьем мозгу произошел переворот – я словно стал человеком, и в голосе моем прозвучало, пожалуй, человеческое чувство, когда впервые в жизни я воскликнул:

– Да, я люблю тебя! Люблю!

– Ну что ж! – нежно сказала она, взглянув на меня безумными глазами. – Вот мы и будем любить друг друга, а теперь бежим...

– Да, бежим, – ответил я. – Как ненавижу я и этот дом и моих дядей!.. Давно уже хотелось мне бежать отсюда. Но ты ведь знаешь: меня повесят.

– Не повесят тебя! – смеясь, возразила она. – Мой жених – председатель окружного суда.

– Жених? – воскликнул я, охваченный приступом еще более жгучей ревности. – Так ты собираешься замуж?

– А почему бы и нет? – ответила она, внимательно на меня поглядев.

Я побледнел и стиснул зубы.

– Ну, тогда... – сказал я и схватил ее в объятия, пытаюсь унести.

– Ну, тогда получай, – ответила она, отпустив мне легкую пощечину. – Ты, я вижу, ревнуешь? Странный же ты ревнивец! Готов обладать любовницей ввечеру, чтобы в полночь уступить ее восьми пьяницам. А завтра они вернут ее тебе втопанную в грязь.

– Ты права! – согласился я. – Беги же! Беги! Я буду защищать тебя до последней капли крови! Но их много, и они одолеют... А я погибну с мыслью, что ты достанешься им. Ужасно! Зачем ты напомнила мне об этом? Какая тоска... Ну что ж, ступай.

– О да! О да, мой ангел! – воскликнула она, с горячностью целуя меня в обе щеки.

Эта забытая с детства женская ласка чем-то напомнила мне последний материнский поцелуй; вместо наслаждения я ощутил глубокую грусть. Глаза мои наполнились слезами. Она заметила это и, целуя набежавшие слезинки, повторяла:

– Спаси меня! Спаси!

– А ты потом выйдешь замуж? Так слушай же! Клянись, что, пока я жив, у тебя не будет мужа! Ждать тебе придется недолго: дядюшки мои чинят расправу быстро да чисто – так они сами говорят.

– А ты разве не бежишь со мною? – возразила она.

– С тобою – нет! Повесят ли меня там, как разбойника, или здесь – за то, что я помог тебе бежать, не все ли равно? Так, по крайней мере, я не опозорю себя, прославь доносчиком, и меня не повесят на площади перед всем честным народом.

– Я не оставлю тебя здесь, – вскричала она, – даже если мне суждено погибнуть! Бежим со мной! Не бойся ничего, верь моему слову. Я отвечаю за тебя перед Богом. Убей меня, если я лгу! Но бежим скорей... О боже! Они поют, я слышу их голоса. Они идут сюда! Ах, если ты не хочешь меня защитить, убей меня, сейчас же убей!

Она бросилась ко мне в объятия. Любовь и ревность переполняли мое сердце; и, верно, у меня явилась мысль ее убить; всякий раз, как вблизи раздавались голоса и топот ног, я хватался за свой охотничий нож. Кругом слышны были победные клики. Проклиная Небо за то, что оно не даровало победу врагу, я привлек Эдме к себе на грудь, и мы замерли друг у друга в объятиях. Далекий ружейный залп возвестил, что сражение возобновилось. Я страстно прижал ее к сердцу.

– Ты похожа на робкую горлинку; как-то раз, спасаясь от коршуна, птичка забила ко мне под куртку и спряталась у меня на груди.

– Но ты ведь не отдал ее коршуну, не правда ли? – спросила Эдме.

– Черта с два! И тебя не отдам, пташка ты моя лесная, прекрасная. Ведь эти злые ночные хищники тебя растерзают!

– Но как мы убежим? – спросила она, в страхе прислушиваясь к ружейной перестрелке.

– Очень просто, – сказал я, – ступай за мной.

Взяв факел, я приподнял крышку люка и помог Эдме спуститься в погреб. Оттуда мы проникли в подземелье, высеченное в скале. В старину оно служило хорошей защитой. Гарнизон в замке был тогда внушительный; проникнув через подземелье в поле, по другую сторону от опускной решетки, можно было напасть на осаждающих с тыла, окружить их, и они оказывались между двух огней. Но прошли уже те времена, когда гарнизон Рош-Мопра мог разделиться на два отряда; да, впрочем, было бы безумием отважиться ночью на такую вылазку. Итак, мы с Эдме беспрепятственно добрались до подземного выхода; но тут меня обуял внезапный приступ ярости. Швырнув на землю факел, я спиной загородил дверь и объявил трепещущей пленнице:

– Ты отсюда не выйдешь, пока не станешь моей.

Стояла крошечная тьма. Грохот сражения уже не доходил до нас. Мы тысячу раз могли ускользнуть из подземелья, прежде чем нас настигнет погоня. Все здесь распалило мою отвагу; судьба Эдме зависела от моей прихоти. Увидав, что чары ее не властны более надо мной и не могут пробудить во мне высокие чувства, она оставила свои мольбы и отступила во мрак подземелья.

– Отвори дверь, – сказала она, – и выйди первый, не то я убью себя. Я взяла твой охотничий нож: ты забыл его наверху. Ступай же к твоим дядям, но ты перешагнешь через мой труп!

Решимость, с какой она это произнесла, меня испугала.

– Верните нож, – сказал я, – или я отниму его у вас силой, чего бы это ни стоило.

– Не думаешь ли ты, что я боюсь смерти? – спокойно возразила она. – Попадись мне этот нож там, наверху, я не стала бы перед тобой унижаться!

– Горе мне! – вскричал я. – Вы меня обманываете! Вы не любите меня! Уходите! Я презираю вас, я не пойду за вами!

Говоря это, я распахнул перед нею дверь.

– Я не хочу уходить без вас, а вы, вы требуете, чтобы я ушла отсюда обесчещенной!.. Кто же из нас великодушней?

– Безумная! Вы мне солгали, а нынче не придумаете, как оставить меня в дураках. Но вы не уйдете отсюда, пока не дадите клятву, что станете моей любовницей, прежде чем выйдете замуж за вашего председателя или кого бы то ни было.

– Любовницей? – переспросила она. – Вот как? Сказали бы хоть «женой», чтобы умалить вашу дерзость!

– Любой из моих дядюшек так бы и сказал в надежде на ваше приданое, а мне нужна только ваша красота. Клянись, что будете принадлежать мне первому, и клянусь, я дам вам свободу! Если же ревность одолеет меня и не под силу будет ее терпеть – слово мужчины: я застрелюсь.

– Клянусь, – сказала Эдме, – что никому не буду принадлежать до вас.

– Это не то; клянись, что будете принадлежать мне первому.

– Это то же самое, – ответила она. – Клянусь!

– Евангелием? Христом? Спасением души? Прахом матери?

– Евангелием, Христом, спасением души, прахом матери!

– Хорошо!

– погодите, – возразила она. – Клянись, что обещание мое и тогда, когда будет выполнено, навеки останется нашей тайной, что ни отец мой, ни кто другой, кто мог бы ему проговориться, никогда об этом не узнает.

– Никто и никогда! К чему? Только бы вы его сдержали!

Она заставила меня слово в слово повторить клятву, и, взявшись за руки в знак взаимного доверия, мы бросились вон из подземелья.

Побег становился все более чреват опасностями. Эдме страшилась осаждающих почти так же, как осажденных. Нам посчастливилось не встретить ни тех ни других, но бежать было

нелегко. Ночь стояла безлунная, мы то и дело натыкались на деревья, а скользко было так, что едва можно было удержаться на ногах. Внезапно оба мы вздрогнули: раздалось какое-то треньканье; я догадался, что это звенит цепь, которой стреножена лошадь моего деда; десятью годами ранее та же лошадь доставила меня в Рош-Мопра. Старый конь был по-прежнему выносливым и норовистым. Смастерив из болтавшейся у него на шее веревки петлю и взнуздав коня, я накинул ему на спину свою куртку, усадил беглянку, развязал путы, вскочил на коня сам и, яростно пришпорив его, пустил галопом куда глаза глядят. На наше счастье, конь знал дорогу лучше моего и даже в темноте сворачивал куда надо, не натыкаясь на деревья. Правда, он то и дело скользил и оступался, отчего нас так подбрасывало, что, если бы не стояла на карте наша жизнь, мы бы наверняка уже не раз свалились на землю, скача таким манером на неоседланной лошади. Но в таких случаях самая безнадежная попытка удается как нельзя лучше: сам Бог хранит того, кого преследуют люди. Казалось, опасность уже миновала, как вдруг лошадь наша споткнулась о пень и, зацепившись копытом за корневище, упала. Не успели мы опомниться, как она исчезла во мраке, и дробный топот становился все глуше и глуше. Я успел подхватить Эдме; она не ушиблась, но я вывихнул себе ногу, да так, что не мог ступить ни шагу. Эдме решила, что нога у меня сломана; мне и самому это казалось – такая сильная была боль. Но вскоре я забыл и думать о моих страданиях и тревогах. Нежная забота беглянки заставила меня позабыть обо всем. Напрасно умолял я ее продолжать путь без меня; теперь ей удалось бы спастись. Мы были уже довольно далеко от Рош-Мопра. Рассвет не заставит себя ждать. Чье бы жилище ни попало ей на пути, защиту от Мопра она найдет повсюду.

– Я не покину тебя! – упрямо твердила Эдме. – Как ты доверился мне, так я вверю свою судьбу тебе. Мы либо спасемся оба, либо оба погибнем!

– Я вижу свет! – воскликнул я. – О да! Я не ошибся! Вон там среди ветвей! Там кто-то живет. Эдме, ступайте, постучитесь. Вы сможете спокойно оставить меня там и найдете проводника, который отведет вас домой.

– Я ни за что вас не оставлю, – сказала она, – но пойду узнаю, не окажут ли вам помощь.

– Нет, я не допущу, чтобы вы сами постучали в эту дверь! – возразил я. – Свет в доме глубокой ночью, в лесной глуши... А вдруг это какая-нибудь ловушка!

Я дотопал до двери. Она была холодна, словно железная; стены увиты были плющом.

– Кто там? – крикнули изнутри, прежде чем мы успели постучать.

– Мы спасены! – воскликнула Эдме. – Это голос Пасьянса.

– Мы погибли, – возразил я. – Он мой смертельный враг.

– Не бойтесь, ступайте за мной; сам Бог привел нас сюда.

– Да, сам Бог привел тебя сюда, душенька ты моя райская, звездочка утренняя, – сказал Пасьянс, распахивая дверь. – И кто бы с тобою ни был, милости просим и его в башню Газо.

Мы вошли под низкие своды. Посредине висела железная лампа. В зале, скудно освещенной ее неверным светом и пылающим в очаге хворостом, мы с удивлением обнаружили необычайных гостей, удостоивших своим присутствием башню Газо. Отблески пламени падали на бледное, задумчивое лицо мужчины в одежде священника, который сидел у огня. По другую сторону очага виднелась желтая длинная физиономия второго гостя, обрамленная тощей бородашкой и наполовину скрытая широкополой шляпой, а на стене вырисовывалась тень его носа, столь остро, что он мог сравниться разве только с тонкой рапирой, лежавшей на коленях его обладателя, или же с остроконечной мордочкой тщедушного пса, напоминавшего громадную крысу; была какая-то таинственная гармония между этими тремя колючими острями: носом Маркаса, его рапирой и собачьей мордой.

Маркас медленно привстал и коснулся рукою края шляпы. Так же поступил и священник-янсенист. Пес молчал, как и его господин. Вынырнув между ног хозяина, он оскалил зубы, прижал уши, но не залаял.

– Спокойно, Барсук, – приказал ему Маркас.

VII

Узнав Эдме, священник отступил с возгласом удивления. Но ничто не могло сравниться с изумлением Пасьянса, когда свет пылающей головни, заменявшей ему факел, озарил мое лицо.

– Голубка и медвежонок! – воскликнул он. – Что же это делается?

– Друг, – ответила Эдме, к моему удивлению вложив свою белую ручку в загрубевшую ладонь колдуна, – окажите ему такое же гостеприимство, как и мне: он освободил меня из Рош-Мопра. Я была захвачена в плен.

– Да простятся ему за то все беззакония, содеянные им и его родичами! – воскликнул священник.

Пасьянс, ни слова не говоря, взял меня под руку и повел к очагу. Меня усадили на единственный стул, и пока Эдме, кое-чего недоговаривая, повествовала о нашем приключении и расспрашивала об отце, оставленном ею на охоте, священник счел своим долгом осмотреть мою ногу. Пасьянс не мог сообщить Эдме ничего нового. В чаще то и дело раздавался зов охотничьего рога, и выстрелы раз за разом нарушали лесную тишь. Но грянула буря, и Пасьянс не слышал уже ничего, кроме завывания ветра, – откуда же ему было знать, что происходит в Варенне. Маркас проворно вскарабкался вверх по приставной лесенке, стоявшей на месте разрушенных ступенек. Пес его с изумительной ловкостью следовал за ним. Вскоре оба спустились к нам, и мы узнали, что на горизонте, со стороны Рош-Мопра, полыхает пламя пожара. При всей моей ненависти к этой обители и ее владельцам, я не мог подавить в себе горестного чувства, услышав, что, по всей видимости, фамильный замок, носивший мое родовое имя, захвачен и предан огню; это было позорное поражение, и багровое зарево казалось мне печатью, проставленной на моем гербе в знак победы тех, кого я называл мужичьем и деревенщиной. Я вскочил и, если бы не острая боль в ноге, ринулся бы к двери.

– Что с вами? – спросила Эдме, стоявшая возле меня.

– А то, – грубо ответил я, – что мне нужно вернуться! Это мой долг! Я скорее дам себя убить, чем допущу, чтобы мои дяди договаривались с чернью.

– С чернью? – воскликнул Пасьянс, впервые удостоив меня словом. – Кто это здесь толкует о черни? Я сам чернь! Такое мое звание, и уж я-то сумею заставить его уважать!

– Ну нет, только не меня! – сказал я, отталкивая священника, который пытался усадить меня на место.

– Вас-то мне учить не впервые! – заметил Пасьянс с презрительной усмешкой.

– Да ведь мы с тобой еще не расквитались! – воскликнул я и, преодолевая ужасную боль в ноге, вскочил и решительно оттолкнул Маркаса, который по примеру священника пожелал выступить в роли миротворца. Дон Маркас отлетел и упал навзничь прямо в золу. Задел я его не со зла, но, что и говорить, довольно грубо; бедняга же был до того тощ, что показался мне легче любого из грызунов, за которыми он охотился. Пасьянс стоял предо мною, скрестив руки на груди, – ни дать ни взять философ-стоик, но во взгляде его сквозила жгучая ненависть. Нетрудно было догадаться, что только законы гостеприимства не позволяют ему сокрушить меня, и он выжидает, когда я первый нанесу ему удар. Я и не заставил бы его долго ждать, однако Эдме, презрев опасность, какую грозило ей мое бешенство, схватила меня за руку, заявив не терпящим возражения тоном:

– Садитесь и успокойтесь! Слышите? Я вам приказываю!

Такая смелость и доверие поразили меня и восхитили. Она властно распоряжалась мною, и это само по себе как бы являлось подтверждением тех прав, на какие притязал я.

– Согласен! – ответил я успокаиваясь. И добавил, глядя на Пасьянса: – Ты от меня не уйдешь!..

– Аминь! – ответил он, пожав плечами.

Маркас с большим хладнокровием поднялся, стряхнул с одежды золу и, не вступая со мной в пререкания, попытался на свой лад урезонить Пасьянса. Это было дело нелегкое, но односложные поучения Маркаса звучали среди нашей перепалки словно эхо в бурю.

– Ведь стар, – выговаривал он хозяину, – а терпения нет! Ваша вина! Да, кругом ваша!

– Какой несносный! – говорила Эдме, положив руку мне на плечо. – Не вздумайте начать снова, не то я уйду совсем.

Я с наслаждением выслушивал ее попреки, не замечая, как быстро мы поменялись ролями. Теперь приказывала и угрожала она: стоило нам переступить порог башни Газо, и Эдме обрела надо мною прежнюю власть. Уединенная эта обитель, и посторонние свидетели нашей встречи, и свирепый хозяин здешних мест – все это было уже тем обществом, в которое я вступал, ярмо которого я вскоре должен был ощутить.

– Ну вот, – сказала Эдме, обращаясь к Пасьянсу, – мы здесь никак не помиримся, а меня терзает тревога за бедного моего отца: сейчас, в глухую ночь, он ищет меня повсюду и, верно, в полном отчаянии. Пасьянс, милый! Придумай способ его разыскать. Этот бедный юноша пойдет со мною: не могу же я оставить его на твое попечение, если твоей любви ко мне не хватает даже на то, чтоб проявить к нему терпение и сострадание.

– Что это вы говорите? – воскликнул Пасьянс и провел рукой по лбу, словно очнулся ото сна. – А ведь ваша правда: я, старый дурак, совсем рехнулся! Дщерь Господня! Скажи-ка этому мальчугану, то бишь дворянину, что за прошлое я у него прошу прощения; а что до настоящего – убогая моя келья к его услугам; верно я говорю?

– Верно, Пасьянс, – сказал священник. – Да ведь можно еще все уладить: лошадь у меня спокойная и надежная; мадемуазель де Мопра на нее сядет, а ты с Маркасом поведешь ее под уздцы; я же останусь здесь около пострадавшего. Обещаю хорошо за ним ухаживать и ничем его не прогневить. Ведь правда, господин Бернар, вы ничего против меня не имеете? Верите вы, что я вам не враг?

– Не знаю, – ответил я, – как вам будет угодно. Позаботьтесь о моей кухне, проводите ее; а я ни в ком и ни в чем не нуждаюсь. Охалка соломы, стакан вина – вот и все, чего бы мне хотелось, если это возможно.

– Вы получите и то и другое, – сказал Маркас, протягивая мне свою флягу, – сначала подкрепитесь, а я пойду на конюшню, оседлаю лошадь.

– Нет, я сам, – сказал Пасьянс. – Позаботьтесь-ка об этом юноше.

И он прошел в соседнее помещение, служившее конюшней для лошади священника, когда тот навещался к Пасьянсу. Коня провели через залу, где находились мы, и Пасьянс, накрыв седло священнической рясой, с отеческой заботливостью посадил на него Эдме.

– Погодите-ка, – сказала она, перед тем как тронуться в путь. – Господин кюре! Клянётесь ли вы спасением души, что не покинете моего кузена, пока я не вернусь за ним вместе с отцом?

– Клянусь! – ответил священник.

– А вы, Бернар, – продолжала Эдме, – поклянетесь ли вы честью, что будете здесь меня ждать?

– Ну уж, не знаю, – ответил я, – это зависит от того, как долго придется ждать и хватит ли у меня терпения; но вам-то, сестрица, ведь известно, что мы еще свидимся хоть у черта на рогах, а по мне – чем скорей, тем лучше.

При свете головни, которой размахивал Пасьянс, проверяя, в порядке ли конская сбруя, я увидел, как прекрасное лицо Эдме сначала вспыхнуло, потом побледнело. Затем она подняла печально поникшую голову и пристально, странно на меня поглядела.

– Ну что ж, в путь? – спросил Маркас, открывая дверь.

– В час добрый, – ответил Пасьянс, беря лошадь под уздцы. – Эдме, доченька, не забудь наклонить голову под притолокой.

– Что там, Барсук? – осведомился Маркас и, выхватив из ножен прославленную шпагу, обогренную кровью грызунов, застыл на пороге.

Барсук остановился как вкопанный и, конечно, залаял бы, не будь он, как утверждал его хозяин, «немым от рождения»; однако он возвестил об опасности на свой лад – хриплым и отрывистым тьякньем, что служило у него явным признаком беспокойства и ярости...

– Тут что-то неспроста, – заметил Маркас.

Подав всаднице знак оставаться на месте, крысолов отважно шагнул в темноту. Раздался выстрел из какого-то огнестрельного оружия; все мы вздрогнули. Эдме легко спрыгнула с лошади и, повинувшись безотчетному порыву, не ускользнувшему от меня, укрылась за спинкой моего стула. Пасьянс выбежал вон из башни; священник поспешил к испуганной лошади, которая взвилась на дыбы и попятилась на нас. Барсук наконец залаял. Позабыв о больной ноге, я одним прыжком очутился за дверью.

Поперек порога в луже крови лежал изрешеченный пулями человек. Я узнал дядю Лорана; смертельно раненный при осаде Рош-Мопра, он, казалось, был при последнем издыхании. Его доставил сюда дядя Леонар; он-то и стрелял сейчас, послав наугад последнюю пистолетную пулю, которая, к счастью, никого не задела.

Пасьянс сразу же приготовился дать отпор, однако, узнав Маркаса, беглецы не только не проявили враждебности, но попросили предоставить им убежище и помощь. Никому, конечно, и в голову не пришло отказать им в участии, естественном, если принять во внимание их плачевное положение. Стражники гнались за ними по пятам. Рош-Мопра стал добычей пламени; Луи и Пьер пали с оружием в руках; Антуан, Жан и Гоше бежали через потайной ход. Возможно, их уже успели схватить. Никакими словами не описать, как омерзителен был в эти минуты Лоран. Агония его была недолгой, но ужасной; священник бледнел, слушая его кощунственные проклятия. Едва успели закрыть дверь и опустить умирающего на землю, из груди его вырвался страшный хрип. Леонар, который признавал единственное лекарство – водку, осыпал меня бранью и оскорблениями за побег из Рош-Мопра; выхватив у меня из рук флягу Маркаса, он лезвием своего охотничьего ножа разжал стиснутые челюсти брата и, несмотря на наши увещания, вылил ему в глотку половину фляги. Несчастный Лоран привскочил, судорожно лоя руками воздух, вытянулся во весь рост и тут же грохнулся замертво на окровавленные плиты. Произносить надгробные речи было некогда: обитая железом дверь загудела под мощными ударами нападающих.

– Именем короля, откройте! Королевская стража, откройте! – кричали снаружи.

– Обороняйся! – воскликнул Леонар, выхватив нож и кидаясь к двери. – Эй, мужичье! Равняйся на дворян! А ты, Бернар, искупи свою вину, смой с себя позор! Не допусти, чтобы Мопра попал живьем в лапы стражникам!

Во мне заговорила отвага и спесь, я готов был последовать примеру Леонара, когда Пасьянс набросился на него и с богатырской силой пригвоздил к земле; став коленом ему на грудь, он велел Маркасу отворить дверь. Тот сделал это прежде, нежели я успел выступить в защиту дяди против беспощадного хозяина. Полдюжины стражников ворвались в башню и взяли ружья наизготовку; мы замерли под их дулами.

– Стой! – крикнул Пасьянс. – Никого не трогайте; вот пленник. Были бы мы с ним вдвоем, уж я бы не дал его в обиду, а может быть, и помог ему спасти свою шкуру. Но тут есть честные люди, – чего ради они должны расплачиваться за этого прохвоста; я и не стану вовлекать их в перепалку. Вот Мопра. Помните же, что вы обязаны целым и невредимым передать его в руки правосудия. А этот уже мертв.

– Сдавайтесь, сударь! – сказал сержант, хватая Леонара.

– Никогда Мопра не даст трепать свое имя на суде, – угрюмо возразил Леонар. – Сдаюсь, получайте мою шкуру, но большего вам не получить!

Леонар покорно дал усадить себя на стул.

Его хотели связать, но тут он обратился к священнику:

– Окажите последнюю, единственную милость, отец мой! Дайте глотнуть из этой фляги: устал, и до смерти выпить охота.

Наш славный священник передал пленнику флягу, которую тот залпом опустошил. Как ни был удручен Леонар, лицо его выражало ужасающее спокойствие. Погруженный в уныние, раздавленный неудачей, он, казалось, уже не в силах был бороться. Но когда ему стали связывать ноги, он выхватил у одного из стражников из-за пояса пистолет и пустил себе пулю в лоб.

Потрясенный этим страшным зрелищем, я впал в угрюмое оцепенение; до моего сознания уже ничего не доходило; окаменев от ужаса, я не замечал, что вот уже несколько минут являюсь предметом ожесточенного спора между стражниками и моими хозяевами. Кто-то из стражников утверждал, что узнал во мне одного из Мопра-душегубов. Пасьянс отрицал это, заверяя, что я не кто иной, как лесничий господина Юбера де Мопра, и сопровождаю его дочь. Спор этот мне наскучил, и я уже готов был назваться, когда рядом, словно призрак, появилась Эдме. Она все время стояла, прильнув к стене, позади испуганной лошади священника, которая, растопырив ноги и поводя горящими глазами, точно пыталась защитить девушку своим телом. Бледная как смерть, Эдме делала невероятные усилия, чтобы заговорить, но от ужаса не в состоянии была разомкнуть уста и могла изъясняться только знаками. Тронутый ее молодостью и затруднительным положением, сержант почтительно ждал, когда к ней вернется дар речи. В конце концов стражники согласились не считать меня пленником и препроводить вместе с кузиной в замок ее отца, она же заверила честным словом, что там им будут даны удовлетворительные объяснения и веские ручательства на мой счет. Священник и оба свидетеля подтвердили заверения Эдме, после чего все мы отправились в путь: Эдме – на лошади сержанта, который пересел на лошадь одного из своих солдат, я – на лошади священника, Пасьянс и аббат – пешком; по бокам ехали стражники, а впереди, сохраняя свое обычное бесстрашие среди всеобщего страха и уныния, шествовал Маркас. Двое стражников остались в башне, чтобы присутствовать при опознании трупов.

VIII

Мы продвинулись по лесу примерно на одно лье, на каждом перекрестке дороги окликающая охотников; Эдме была уверена, что отец не возвратится домой, пока не разыщет ее, и умоляла стражников его найти. Те уступили с большой неохотой, опасаясь, что нас обнаружат и мы подвергнемся нападению бежавших из Рош-Мопра разбойников. В пути стражники рассказали нам, что это логово было захвачено лишь после третьего приступа, ибо нападающие щадили свои силы. Лейтенант, начальник патруля, хотел овладеть замком, не подвергая его разрушению и, главное, не убивая осажденных, но это оказалось невозможным – столь отчаянным было сопротивление. При вторичном штурме осаждающие потерпели такой урон, что им оставалось либо отступить, либо отважиться на крайние меры. Они открыли огонь по укреплениям вала, а при третьей схватке уже не щадили никого и ничего. Двое из братьев Мопра были убиты на развалинах бастиона, пятеро других исчезли. Шесть стражников пустились вдогонку по свежим следам в одном направлении и шесть в другом; стражники, которые сообщили нам эти подробности, гнались за Лораном и Леонаром по пятам; неподалеку от башни Газо они почти настигли злополучных беглецов, и пули их угодили в Лорана. Слышно было, как он завопил, что умирает. Леонар, по всей видимости, дотащил брата до жилища колдуна. Леонар – единственный из всех Мопра, о ком стоило пожалеть, ибо, пожалуй, он один был бы способен начать честную жизнь. Он и в разбое сохранял подчас некую рыцарственность, и свирепая его душа доступна была человеческим чувствам. Поэтому, весьма расстроенный его трагической гибелью, я погрузился в мрачное раздумье и, машинально продолжая свой путь, решил окончить дни подобно Леонару, ежели и я буду обречен на бесчестие, какое он не пожелал стерпеть.

Звук рогов и собачий лай внезапно возвестили о приближении охотничьей кавалькады. Громкими возгласами мы дали знать о себе; Пасьянс поспешил навстречу охотникам. Эдме, сгорая нетерпением увидеть отца и забыв об ужасах этой кровавой ночи, стегнула коня и первая поравнялась со своими. Когда мы присоединились к ним, я увидел ее в объятиях рослого, почтенного вида мужчины. Он был роскошно одет; его расшитая золотом охотничья куртка и великолепный нормандский конь, которого один из егерей держал под уздцы, до того меня поразили, что я принял его за принца. Нежность, которую он выказывал дочери, была мне в диковинку, и я чуть ли не счел подобные ее проявления чрезмерными и несовместимыми с мужским достоинством; в то же время она вызывала во мне чувство, похожее на животную ревность, ибо мне и в голову не приходило, что этот щеголь может быть моим дядей. Эдме тихо, но оживленно о чем-то с ним разговаривала. Так продолжалось с минуту, потом старик подошел и сердечно меня расцеловал. Все это было мне внове; облаканный и осыпаемый всяческими добрыми словами, я оцепенел и лишился дара речи. Рослый молодой красавец, одетый столь же изысканно, как и господин Юбер, пожал мне руку со словами благодарности, в которых я ничего не понял. Из переговоров его со стражей я заключил, что он председатель суда и требует, чтоб мне позволили беспрепятственно следовать за моим дядей, кавалером мальтийского ордена, в его замок; он сам готов поручиться за меня честью. Стражники нас покинули: господина Юбера и председателя сопровождала свита достаточно многочисленная, и встреча с разбойниками была им не страшна. Как же я удивился, увидев живейшее свидетельство дружеских чувств, какие питал кавалер к Пасьянсу и Маркасу. Что до священника, то он держался с обоими вельможами как равный. Уже несколько месяцев он состоял капелланом замка Сент-Севэр, ибо придирки епархиального начальства заставили его покинуть свой приход.

Нежная привязанность всех окружающих к Эдме, родственные чувства, о которых я не имел представления, дружелюбие и сердечность в отношениях между почтительными простоплюдинами и благожелательными господами – все, что я видел и слышал, походило на сон. Я смотрел во все глаза и не знал, что подумать. И только я попробовал было разобраться во всем

этом, кавалькада наша снова двинулась в путь, и господин де ла Марш (председатель суда), отстранив меня, в сознании своих прав пустил коня рядом с лошадей моей кузины. Я вспомнил, как в Рош-Мопра Эдме сказала мне, что он ее жених. Ярость и ненависть овладели мною, и не знаю, каких только глупостей я не натворил бы, если бы Эдме, угадав, по-видимому, какие чувства меня обуревают, не сказала господину де ла Маршу, что хочет со мной поговорить, и не вернула меня на прежнее место, рядом с собою.

– Что скажете? – спросил я скорее поспешно, нежели учтиво.

– Ничего, – вполголоса ответила она. – Мне надо будет сказать вам многое, но позднее, а пока согласны ли вы исполнять любое мое желание?

– С какой же это стати, черт побери?

После некоторого колебания она с усилием произнесла:

– Потому что этим доказывают женщине свою любовь.

– А вы сомневаетесь в моей любви? – возмутился я.

– Как знать? – сказала она.

Ее недоверие весьма меня удивило, и я попытался рассеять его, как умел.

– Разве вы не прекрасны? – возразил я. – А я ведь мужчина, и к тому же молод. Вы, может быть, думаете, что я еще мальчишка и не замечаю женской красоты? Однако нынче, когда голова у меня трезвая, когда мне грустно и вовсе не до шуток, должен сказать, что влюблен в вас еще сильнее, нежели предполагал. Чем больше я на вас гляжу, тем краше вы мне кажетесь. Вот уж не думал, что женщина когда-либо так поразит меня своей красотой! По правде говоря, я не усну, пока...

– Замолчите! – сухо сказала Эдме.

– Ага, боитесь, что услышит господин де ла Марш? Будьте покойны, я умею держать свое слово; надеюсь, что и вы, девица благородного происхождения, сумеете сдержать свое.

Она умолкла. Ехать рядом могли по дороге только двое. Была глубокая тьма, и хотя господин Юбер и председатель держались позади нас, я набрался храбрости и хотел обвить рукою стан Эдме, как вдруг она сказала усталым, надломленным голосом:

– Простите, кузен, что я молчу: я с трудом понимаю, о чем вы говорите. Я изнемогаю от усталости, измучена до смерти... Но, к счастью, мы уже приехали. Поклянись, что полюбишь моего отца, что во всем будете слушаться его наставлений и не станете ничего решать, не посоветовавшись со мной. Клянись же, если хотите, чтобы я поверила в вашу дружбу!

– А по мне, хоть и не верьте, – отвечал я. – Верьте зато в мою любовь. Поклянись же я могу в чем угодно. Ну, а вы неужто ничего не пообещаете мне сами, по доброй воле?

– Что же еще я могу вам обещать? Ведь все уже ваше, – сказала она очень серьезно. – Вы спасли мою честь, жизнь моя принадлежит вам.

Край неба посветлел, брезжило утро; мы прибыли в деревню Сент-Севэр и вскоре очутились во дворе замка. Эдме, бледная как смерть, спешила и упала в объятия отца. Господин де ла Марш, вскрикнув, бросился ей на помощь. Она потеряла сознание. Священник занялся мною. Я был весьма озабочен своей судьбой. В отсутствие той, что сумела вырвать меня из разбойничьего вертепа, потеряли свою силу ее колдовские чары, и во мне пробудилась свойственная разбойнику подозрительность. Как затравленный волк, угрюмо озирался я вокруг, готовый броситься на первого, кто шелохнется или скажет неподобающее слово. Меня проводили в роскошную комнату и тотчас же подали завтрак, сервированный с невиданным мною дотоле великолепием. Священник окружил меня вниманием; когда же ему удалось несколько меня успокоить, он ушел и занялся своим другом Пасьянсом. Тревога и смятение, одолевавшие меня, отступили перед здоровым аппетитом, свойственным юности. Ежели бы не почтительная угодливость слуги, одетого куда лучше меня, который, стоя за спинкой стула, вежливо предупреждал каждое мое желание, чему я не мог воспрепятствовать, я набросился бы на еду с ужасающей жадностью. Но зеленая ливрея слуги и его шелковые панталоны меня весьма сму-

щали. Еще пуще смутился я, когда, укладывая меня спать, он опустился на колени и начал стаскивать с меня сапоги. Решив на сей раз, что он надо мной издевается, я чуть было не стукнул его кулаком по голове, но он занимался своим делом с такой серьезностью, что я только поглядел на него в изумлении.

И все же стоило мне очутиться в постели, без оружия, в окружении слуг, на цыпочках сновавших по комнате, как мною снова овладела подозрительность. Улучив минуту, когда меня оставили одного, я встал, взял с еще не прибранного стола самый длинный нож, какой только мог там сыскать, а затем, успокоенный, снова улегся в постель и, крепко зажав нож в руке, уснул глубоким сном.

Когда я проснулся, закатное солнце, пробиваясь сквозь красный шелковый полог, роняло свои розовые блики на тончайшие простыни и сверкало на позолоченных шарах, которые украшали изголовье и спинку кровати; ложе это оказалось необыкновенно прекрасным и мягким, так что я готов был принести ему мои извинения за то, что позволил себе на него улечься. Приподнявшись, я увидел приветливое лицо почтенного старца, который, улыбаясь, откинул полог моей кровати. То был господин Юбер де Мопра, прозванный «кавалером». Он ласково спросил, как я себя чувствую. Мне хотелось быть учтивым, выразить признательность, но язык мой был столь груб и неотесан, что я невольно смутился, страдая от собственной неуклюжести. А тут, на беду, только я пошевелился, нож, с которым я делил ложе сна, упал к ногам господина Мопра; он его поднял, оглядел и в чрезвычайном удивлении посмотрел на меня. Я побагровел и что-то пролепетал, готовый выслушать упреки по поводу оскорбления, нанесенного гостеприимному хозяину; но господин Юбер был слишком учтив, чтобы требовать объяснений. Спокойно положив нож на камин, он вернулся ко мне и сказал:

– Теперь я знаю, Бернар, что обязан вам жизнью самого дорогого мне существа. Все мои дни посвящу я отныне тому, чтобы доказать вам свою признательность и уважение. Дочь моя тоже в долгу перед вами, и это долг священный. Не опасайтесь за ваше будущее. Я знаю, какие преследования, какая месть ждет вас за то, что вы ушли к нам. Но я знаю также, от какой страшной участи могут избавить вас моя дружба и преданность. Вы сирота, а у меня нет сына. Хотите, я буду вам отцом?

Я растерянно глядел на него, не веря своим ушам. Изумление и робость не давали мне вымолвить ни слова. Господин Юбер и сам был несколько удивлен: он не ожидал, что я такой дикарь.

– Ну что ж, – сказал он. – Надеюсь, вы к нам привыкнете. Дайте хотя бы пожать вашу руку в знак того, что вы мне доверяете. Я пришлю к вам слугу; приказывайте ему – он в вашем распоряжении. Прошу вас только об одном: обещайте не выходить за ограду парка, пока я не приму меры, чтобы избавить вас от преследований закона. Вас могут привлечь к суду, обвинив в тех же злодеяниях, что и ваших недостойных дядей!

– Моих дядей? – воскликнул я, схватившись за голову. – Неужели это был скверный сон? Где они? Что стало с Рош-Мопра?

– Рош-Мопра уцелел от пожара, – ответил господин Юбер. – Пострадали только службы, но я беру на себя отстроить ваш дом и выкупить родовое поместье у заимодавцев, добычей которых оно стало. Что до ваших дядей... по всей вероятности, вы являетесь единственным носителем имени, честь которого вам надлежит восстановить.

– Единственным? – воскликнул я. – Четверо братьев Мопра погибли этой ночью, но еще трое...

– Пятый, Гоше, погиб во время побега; его нашли сегодня утром: он утонул в пруду у Студеных ключей. Ни Жан, ни Антуан так и не сыскались; но лошадь Жана, как и плащ Антуана, найденные неподалеку от того места, где извлекли труп Гоше, – зловещее свидетельство того, что и с ними произошло нечто подобное. Ежели и удалось кому-нибудь из Мопра ускользнуть, он не появится вновь – дело его проиграно; раз уж Мопра навлекли на свою голову неминуе-

мые громы и молнии, лучше будет и для них и для нас, имеющих несчастье носить то же имя, трагически погибнуть с оружием в руках, коли это им суждено, а не бесславно окончить дни свои на виселице. Покоримся же тому, что судил им Господь. Суровый приговор: семеро братьев в расцвете молодости и сил в одну ночь призваны держать страшный ответ перед Богом!.. Помолимся же за них, Бернар, и добрыми делами попытаемся искупить содеянное ими зло, смыть пятно, которым обесчестили они наш герб.

В этих словах сказался характер господина Юбера: благочестивый, справедливый и милосердный; кавалер, как и большинство дворян, движимый сословным высокомерием, часто пренебрегал заповедью христианского смирения. Господин Юбер охотно бы усадил за свой стол бедняка, а в страстную пятницу омыл ноги двенадцати нищим, но это не избавляло его от всевозможных предрассудков нашей касты. Он находил, что его двоюродные братья, будучи дворянами, погрешили против человеческого достоинства много более, чем если бы они были простолюдинами. В противном случае бремя их вины было бы вполовину менее тяжким. Долгое время и я разделял это убеждение; оно вошло, если можно так выразиться, в мою плоть и кровь. Расстался я с ним лишь в итоге жестоких уроков, преподанных мне судьбой.

Затем господин Юбер подтвердил то, что уже говорила мне его дочь. С самого моего рождения он выражал горячее желание усыновить меня, но брат его Тристан упорно этому противился. Тут лицо господина Юбера омрачилось.

– Вы не знаете, – сказал он, – какие гибельные последствия имела для нас с вами моя попытка... Страшная тайна, кровь Атридов...^[17]

Вид у него был подавленный. Взяв меня за руку, он продолжал:

– Бернар, мы оба с вами жертвы своей жестокой родни; сейчас не время сводить счеты с теми, кто уже предстал перед грозным судом Божиим, но родичи причинили мне непоправимое зло, разбили сердце... А зло, причиненное вам, мы исправим, клянусь памятью вашей матери! Они не дали вам образования, сделали таким же разбойником, как и они сами; но вы сохранили великодушие и чистоту души, столь же благородной, как душа той ангельской женщины, что дала вам жизнь. Вы загладите невольные грехи, совершенные по ребяческому неведению; вы получите образование, соответствующее вашему положению; вы восстановите фамильную честь, ведь правда, вы хотите этого? И я хочу. Я паду к вашим ногам, чтобы снискать ваше доверие, и я завоюю его, ибо самим Провидением суждено вам стать моим сыном. О, когда-то я мечтал, что усыновлю вас по-настоящему! Ежели бы при моей вторичной попытке вас доверили моему попечению, вы бы воспитывались вместе с моею дочерью и, надо полагать, стали ее супругом. Но Бог судил иначе. Вам еще только предстоит приступить к учению, она же свое заканчивает. Эдме в том возрасте, когда девушке пора устроить свою жизнь; да, впрочем, она уже сделала выбор: она любит господина де ла Марша и скоро выйдет за него замуж; она вам это сказала.

Я пролепетал что-то невнятное. Великодушные и ласковые речи почтенного старца глубоко меня тронули. Я чувствовал, что становлюсь другим человеком. Но стоило господину Юберу назвать имя своего будущего зятя, как во мне снова пробудились дикарские инстинкты, и я понял, что никакие правила общественной морали не принудят меня отказаться от обладания тою, кого я считал своей добычей. Я то бледнел, то краснел, задыхаясь от гнева. По счастью, приход аббата Обера, янсенистского священника, прервал нашу беседу; он осведомился, как я себя чувствую после падения с лошади. Тут господин Юбер узнал, что я повредил ногу, – обстоятельство, которого он не заметил среди всех волнений, вызванных событиями более важными. Он послал за своим врачом, и меня окружили самой любовной заботой; я покорился, побуждаемый признательностью, хотя и считал всю эту суетню не более как ребячеством.

Спросить господина Юбера о самочувствии его дочери я не отважился. С аббатом держался я смелее. Тот сообщил мне, что Эдме забылась долгим тревожным сном, и это его пугает;

а по словам врача, который пришел вечером сделать мне перевязку, у кузины был сильный жар, врач опасался тяжкого недуга.

И действительно, несколько дней Эдме было так плохо, что ее состояние вызывало тревогу. В часы пережитых ею потрясений Эдме держалась очень стойко. Теперь же наступил резкий упадок сил. Нельзя было встать с постели и мне. Я шагу не мог ступить из-за острой боли в ноге, а врач пригрозил мне, что если я не полежу спокойно хотя бы несколько дней, то буду много месяцев прикован к постели. Я никогда не болел, да и теперь чувствовал себя совершенно здоровым; поэтому томительная скованность, сменившая привычную подвижность, наводила на меня гнетущую тоску. Лишь тот, кто вырос в лесных дебрях и приучен к жестоким и грубым нравам, может понять, какое отчаяние и страх испытывал я, оставаясь более недели взаперти, за шелковым пологом моего ложа. Роскошно обставленная комната, золоченая кровать, назойливая заботливость слуг, даже изысканная пища – все эти пустяки, которые в первый день доставляли мне удовольствие, через двадцать четыре часа опостытели мне совершенно. Господин Юбер, поглощенный болезнью любимой дочери, навещал меня с прежней сердечностью, но заходил ненадолго. До чрезвычайности добр был ко мне и аббат. Ни тому ни другому не осмеливался я признаться, каким несчастным я себя чувствую; но, оставаясь один, я готов был рычать, как лев, запертый в клетке, а по ночам, во сне, предо мной возникали, словно видения земного рая, мшистые лесные поляны, полог древесной листвы и даже угрюмые зубцы Рош-Мопра. Бывало, трагические сцены той ночи – мой побег и все с ним связанное – всплывали в памяти так ярко, что подчас я продолжал бредить ими даже наяву.

Посещение господина де ла Марша усилило мое отчаяние и сумятицу в голове. Он выказал большое ко мне расположение: то и дело пожимая руку, предлагал свою дружбу, раз десять воскликнул, что готов пожертвовать за меня жизнью, и повторял еще бог весть какие заверения, которых я не слушал, ибо от его слов в висках у меня стучало и, будь при мне охотничий нож, я наверняка набросился бы на гостя. Его немало удивили моя дикость и сумрачные взгляды, которые я на него кидал, но, услышав от аббата, что рассудок мой потрясен роковыми событиями, погубившими моих родичей, он снова рассыпался в уверениях и распрощался со мною как нельзя более учтиво и доброжелательно.

Хотя вежливость, какую проявляли все, начиная с хозяина дома и кончая последним слугой, меня и восхищала, я неслыханно ею тяготился; не будь она внушена всеобщим ко мне благоволением, я бы все равно не в состоянии был понять, что вежливость и доброта – далеко не одно и то же. Поведение окружающих так непохоже было на хвастливое и насмешливое зубоскальство Мопра, что воспринималось мною словно какой-то неведомый мне язык, который я все же понимал, хотя и не научился им владеть.

Я обрел, впрочем, дар речи, когда аббат сообщил, что ему поручено заняться моим образованием; желая выяснить уровень моих знаний, он стал задавать мне вопросы. Мне было стыдно обнаружить свое невежество, которое далеко превосходило все, что он мог бы вообразить. Обуреваемый дикой гордыней, я объявил аббату, что, будучи дворянином, не имею ни малейшей охоты сделаться канцелярской крысой. Он расхохотался в ответ, чем я был весьма обижен. Дружески похлопав меня по плечу, аббат заметил, что я чудак, но со временем, конечно, изменю свои взгляды. Я побагровел от гнева, но тут вошел господин Юбер. Аббат изложил ему нашу беседу и сослался на мой ответ; дядюшка подавил улыбку.

– Дитя мое, – ласково сказал он, – я отнюдь не желаю докучать вам, хотя бы мной и руководили самые лучшие побуждения; не будем сегодня говорить о занятиях. Для того чтобы почувствовать к ним вкус, вы сперва должны понять их необходимость. У вас благородная душа, стало быть, вы рассудите по справедливости, и желание учиться придет к вам само собой. Поужинаем. Хотите есть? Хорошее вино вы любите?

– Куда больше латыни, – ответил я.

– Так вот, аббат, в наказание за то, что вы разыграли из себя такого педанта, – весело продолжал господин Юбер, – вы будете с нами пить вино. Эдме вне всякой опасности, а Бернару доктор разрешил подняться и посидеть в кресле. Мы поужинаем у него в комнате.

Ужин и вина были действительно так хороши, что, по обычаю обитателей Рош-Мопра, я не преминул напиться допьяна. Возможно, мне в этом помогли, желая, чтоб я разговорился и сразу же обнаружил, какой я невежа. Невоспитанность моя превзошла всякие ожидания; но, без сомнения, о задатках моих судили благосклонно, ибо от меня не отступились и принялись за обработку неотесанной глыбы, то есть моей особы, с рвением, свидетельствовавшим о возлагаемых на меня надеждах.

Уныние мое рассеялось, когда я стал выходить из комнаты. В первый день моим неотступным спутником был аббат. Томительность второго дня умерялась надеждой, что на третий мне разрешено будет видеть Эдме, а также дружелюбным отношением окружающих, прелесть которого я начинал ценить, по мере того как переставал ему удивляться. Присущая кавалеру доброта была самым верным средством преодолеть мою дикость; господин Юбер быстро завоевал мое сердце. То была первая в моей жизни привязанность. Она заняла место в моей душе наравне со страстной любовью к кузине, и мне даже в голову не приходило, что одно из этих чувств может противоречить другому. Я был весь стремление, весь порыв, весь желание. В душе подростка кипели страсти взрослого мужчины.

IX

Как-то утром, после завтрака, господин Юбер повел меня наконец к дочери. Дверь ее комнаты отворилась, и мне в лицо пахнуло таким благоуханным теплом, что у меня едва не закружилась голова. Незатейливая, но прелестная комната, обитая, как и вся мебель в ней, светлой узорчатой тканью, дышала ароматом цветов, наполнявших большие китайские вазы. Резвясь в золоченой клетке, нежно и сладостно пели африканские птицы. Нога утопала в коврах, более мягких, чем лесной мох в марте. Я был взволнован, глаза мои застилала пелена, ноги заплетались; я неуклюже спотыкался о мебель и все никак не мог подойти к Эдме. Кузина лежала на кушетке и небрежно вертела в руках перламутровый веер. Она показалась мне еще прекрасней, нежели раньше, но была так непохожа на ту, прежнюю, что, даже горя восторгом, я леденел от робости. Эдме протянула мне руку; я не знал, что правила вежливости позволяют мне поцеловать ей руку в присутствии дяди. Я не слышал, о чем говорила мне кузина; вероятно, она сказала что-нибудь ласковое. Потом, как бы надломленная усталостью, она откинула голову на подушку и закрыла глаза.

– Мне нужно поработать, – сказал господин Юбер. – Побудьте с нею, но не давайте ей много разговаривать: она еще совсем слаба.

Поистине, это наставление походило на издевку; Эдме притворилась спящей, вероятно, для того, чтобы скрыть свое замешательство, а я не способен был побороть ее настороженность, и напоминать мне о необходимости молчания было, право же, слишком жестоко.

Господин Юбер открыл дверь в глубине комнаты и, выйдя, притворил ее за собой; по временам откуда-то доносился его кашель; я догадывался, что кабинет его отделяется от спальни Эдме лишь перегородкой. И все-таки я провел несколько блаженных минут с нею наедине, пока она притворялась спящей. Я мог украдкой вволю на нее наглядеться; в лице ее не было ни кровинки, оно было белее ее белого муслинового пеньюара и атласных домашних туфель, отделанных лебяжьим пухом. Ее тонкая, прозрачная рука показалась мне доселе невиданной драгоценностью. Я представления не имел о том, что такое женщина; до сей поры красоту олицетворяли для меня молодость и здоровье в сочетании с мужественной отвагой. Представ передо мною впервые в образе амазонки, Эдме, хотя и в слабой степени, обладала этими чертами, и в этом обличье она была доступней моему пониманию; теперь же она казалась мне незнакомкой, и я не мог поверить, что вижу ту самую женщину, которую в Рош-Мопра держал в своих объятиях. Новизна обстановки, обстоятельства встречи, перелом в моем сознании, в которое начал проникать извне слабый луч света, – все это делало наше второе свидание с глазу на глаз совсем не похожим на первое.

Но странную, тревожную отраду, какую испытывал я, любуясь Эдме, смутил приход дуэньи, мадемуазель Леблан. В спальне она исполняла обязанности горничной, в гостиной же – компаньонки. Возможно, мадемуазель Леблан получила от своей госпожи приказание не оставлять нас одних; как бы то ни было, она уселась перед кушеткой, предоставив мне вместо прекрасного облика Эдме разочарованно созерцать ее собственную длинную и тощую спину; затем она вынула из кармана вязанье и спокойно принялась за работу. Птицы щебетали, господин Юбер покашливал, Эдме спала или притворялась, что спит, а я сидел в противоположном конце комнаты, делая вид, что разглядываю книгу с картинками, которую держал вверх ногами.

Спустя некоторое время я заметил, что Эдме не спит, а тихонько беседует с компаньонкой; мне показалось, что та украдкой то и дело на меня поглядывает. Желая избежать ее докучливых взглядов, я невольно пустился на хитрость, что было мне далеко не чуждо: я уткнулся глазами в книгу, которую пристроил на столике у стены, да так и застыл, словно погрузившись в дремоту или чтение. Тогда мало-помалу дамы заговорили погромче, и я услышал, что они толкуют обо мне:

– Как хотите, сударыня, а пажа вы нашли себе забавного.

– Не смеди меня, Леблан. Какие могут быть нынче пажи? Ты что, считаешь, что мы живем во времена наших бабушек? Говорю тебе: отец его усыновил.

– Хорошо, конечно, что господин кавалер взяли себе приемного сына; но где, скажите на милость, откопали они это пугало?

Я метнул взгляд в сторону кушетки и заметил, что Эдме рассмеялась, прикрывшись веером. Ее забавляла болтовня этой старой девы, которую считали неглупой и которой позволяли говорить все, что придет ей на ум. Я был больно уязвлен тем, что кузина смеется надо мной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Жорж Санд работала над романом «Мопра» с лета 1835-го по весну 1837 года. Первая публикация – в «Ревю де дё монд» с апреля по июнь 1837 года.

2.

Картуш – прозвище знаменитого своими дерзкими налетами главаря воровской шайки в Париже в начале XVIII в.

3.

Синяя Борода – герой одноименной сказки Ш. Перро, жестокий деспот-многоженец.

4.

Роман о сыновьях Эмона. – Имеется в виду «История о четырех сыновьях Эмона» – популярная книга XVIII в., написанная на сюжет старинного рыцарского романа.

5.

Янсенизм – близкое к протестантству оппозиционное течение внутри католической церкви, возникшее во Франции в XVIII в.

6.

Евсевий (ок. 264–340) – христианский церковный деятель и богослов, видный историк церкви.

7.

Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) – римский писатель и философ.

8.

Тертуллиан (ок. 160–222) – христианский богослов, один из «отцов церкви», оказавший влияние на формирование средневековой христианской догматики.

9.

Эпиктет (ок. 50 – ок. 138) – греческий философ-стоик, проповедовавший господство человека над своими страстями.

10.

Пифагор – древнегреческий математик и философ VI в. до н. э.

11.

Друидический камень. – Камни служили кельтским жрецам, друидам, для совершения их обрядов.

12.

«Исповедание веры савойского викария» – изложение системы религиозно-этических взглядов Ж.-Ж. Руссо, включенное в его книгу «Эмиль, или О воспитании» (1762).

13.

«Общественный договор» (1762) – трактат Ж.-Ж. Руссо, излагающий его социально-политические воззрения, легшие в основу идеологии французских мелкобуржуазных революционеров XVIII в.

14.

Волшебница Моргана – фея из кельтских (бретонских) сказаний, сестра легендарного короля Артура.

15.

Уганда – волшебница, персонаж из романов об Амадисе Галльском и Пальмерине.

16.

Женевьева Брабантская – героиня древней немецкой легенды; ее обвинили в измене супругу, герцогу Брабантскому, оставили одну в Арденнском лесу, где она родила сына.

17.

Кровь Атридов. – Атриды – дети мифологического греческого героя Атрея, Агамемнон и Менелай. В наказание за преступления Атрея боги обрекли на бедствия весь его род, история которого полна убийств и кровосмешений. Слово стало нарицательным для обозначения семьи, над которой тяготеет злой рок.